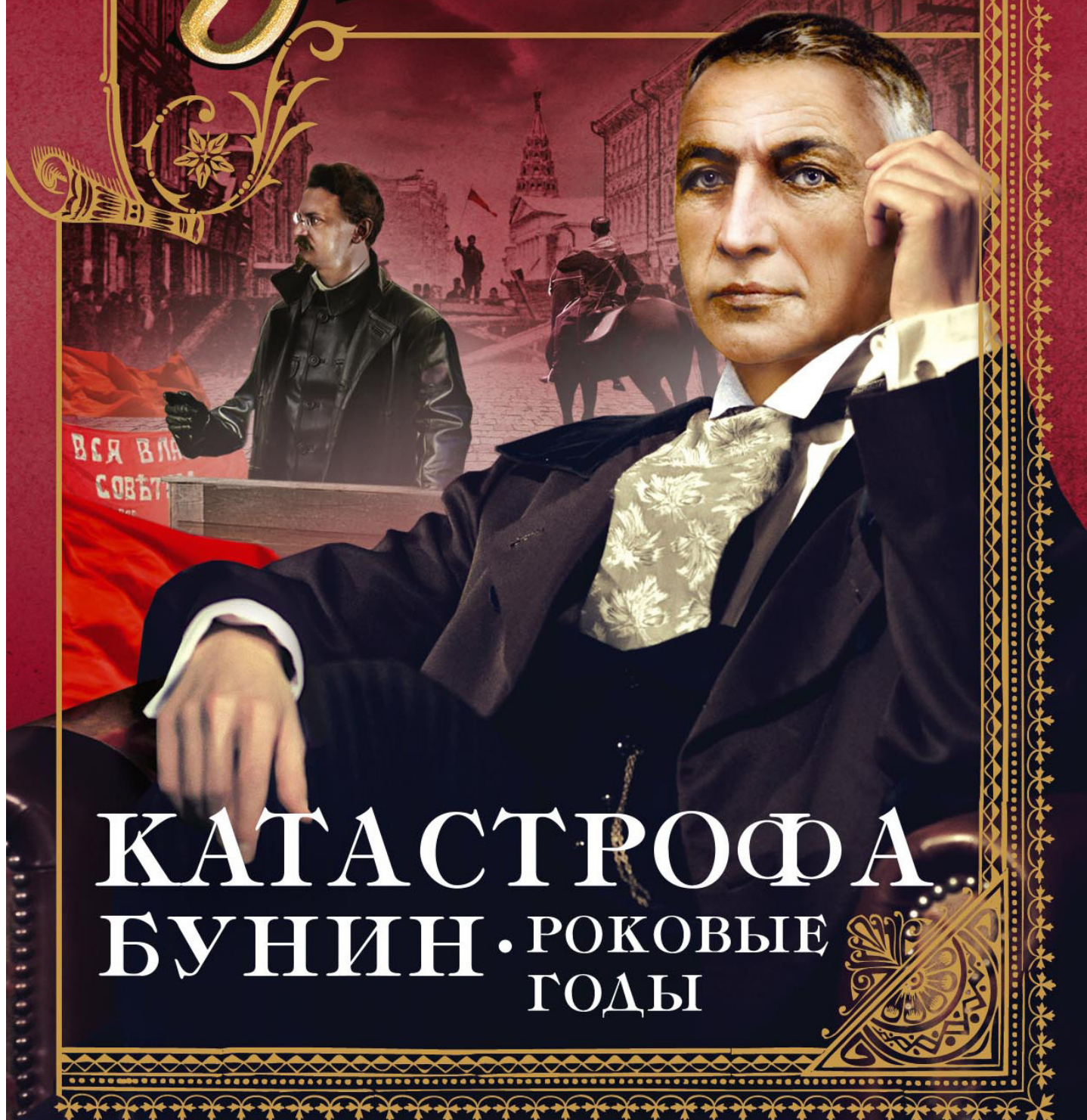


ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ



КАТАСТРОФА
БУНИН. РОКОВЫЕ
ГОДЫ

Валентин Лавров

Катастрофа. Бунин. Роковые годы

«Центрполиграф»

1994

УДК 82-312.4(02)
ББК 84(2Рос-Рус)6-44я5

Лавров В. В.

Катастрофа. Бунин. Роковые годы / В. В. Лавров —
«Центрполиграф», 1994

ISBN 978-5-227-07915-2

Роман повествует о бурных и трагических событиях XX века: большевистском перевороте, кровавом терроре, укреплении диктаторских режимов в Европе, несчастной жизни россиян на чужбине. Среди десятков и десятков его персонажей – от петербургского извозчика до русской дамы, торгующей собой на панелях Стамбула, от Троцкого и Ленина до Муссолини и Сталина, от Рахманинова и Станиславского до Алексея Толстого и Марка Алданова – наиболее яркой фигурой является великий Бунин. Книга содержит нецензурную брань

УДК 82-312.4(02)
ББК 84(2Рос-Рус)6-44я5

ISBN 978-5-227-07915-2

© Лавров В. В., 1994
© Центрполиграф, 1994

Содержание

К читателям	8
Часть первая	10
Не стая воронов слеталась...	11
...И княжество киевское	18
Прогрессивные тупицы	25
Кто пьет пиво...	30
Прощальный пир	37
Свет незакатный	45
Октябрь, 25-е	51
Под горой растет ольха	65
Бесноватых рать	75
Боже, царя храни!	85
Убийство на Болотном рынке	95
Намыленный шнурок	100
«И всякое деяние – срам и мерзость»	108
Главный фронт – внутренний!	118
Кремлевские коридоры	127
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Валентин Лавров
Катастрофа
Бунин. Роковые годы

Оформление художника Е. Ю. Шурлаповой

© В. В. Лавров, 2020

© «Центрполиграф», 2020

* * *



*Ивану Алексеевичу Бунину,
великому русскому писателю*

посвящается.
Автор

К читателям

Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимая, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

Ив. Бунин

«Катастрофа», по моему глубокому убеждению, – одно из самых значительных произведений русской литературы ушедшего XX века. Закрываешь книгу с твердой убежденностью: да, этот труд – явление редкое и духовно радостное в дни безвременья нашей изящной словесности. Перед автором стояла сложнейшая задача. Он попытался вскрыть истоки, главным образом духовные, тех трагических и кровавых процессов, которые привели к октябрьскому перевороту (именно так – вполне откровенно – называли его сами большевики).

Бунин неслучайно окрестил эти события «окаянными днями», а генерал Деникин – «русской смутой». Оценки исторических процессов в обоих случаях вполне совпадают – как российской катастрофы.

В книге Лаврова факты являются восходящими токами, на которых парит авторское вдохновение, мощь творческой фантазии. Все это – фундамент самых смелых, порой неожиданных оценок исторических личностей и событий. В частности, это ярко выступает в характеристике известного вегетарианца и страстного поклонника Рихарда Вагнера Адольфа Гитлера или одаренной поэтессы Зинаиды Гиппиус, талантливого писателя Дмитрия Мережковского, лишенного, впрочем, нравственного чувства, не менее яркого, но малокультурного Александра Куприна и других.

Роман многопланов и ассоциативен. Перед читателем проходят десятки и десятки персонажей – от петербургского извозчика до русской дамы, торгующей собой на панелях Стамбула, от Троцкого и Ленина до Муссолини и Сталина, от Рахманинова и Станиславского до Алексея Толстого и Марка Алданова.

Но наиболее яркой фигурой является герой романа – великий Бунин. При всех трагических изломах судьбы он сберег патриотические чувства и любовь к России. Под пером Лаврова этот писатель вырастает до некоего символа российской интеллигенции, сущность которой во все времена была единой – служение отечеству и его народу. Воистину Бунин – по библейскому завету! – положил жизнь свою за други своя. В самых трудных, невыносимых условиях он сумел найти в себе силы и вдохновение для служения великой русской литературе.

«Катастрофа» с потрясающей убедительностью показывает, что октябрь семнадцатого стал национальной трагедией, воистину окаянными днями, затянувшимися на десятилетия.

Когда-то Л. Н. Толстой наставлял, что писать можно лишь о том, что хорошо знаешь. Автор «Катастрофы» материалом владеет в совершенстве. Создается порой впечатление, что он был свидетелем несчастных событий зимы восемнадцатого года, пересекал бурное Черное море, бродил по узким улочкам Константинополя, дышал табачным дымом парижских кафе.

Любой эпизод «Катастрофы» выдерживает пробу на полную историческую достоверность и документальную подтвержденность.

Лавров пишет страстно, эмоции порой хлещут через край, язык его образен, сочен и многообразен, ибо сложны и драматичны события, о которых нам поведал взволнованный автор. Начав читать книгу, оторваться от нее трудно.

Закрываешь роман с мыслью: никогда и никому не сломить, не разрушить Россию! Она восстанет в новой силе и славе. Порукой тому великий русский народ, в безмерных страданиях сумевший сохранить духовные и нравственные силы.

Эпиграфом к роману вполне могли бы послужить прекрасные строки стихотворения
З. Гиппиус:

Она не погибнет, – знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, – верьте!
Поля ее золотые.

И мы не погибнем, – верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасется, – знайте!
И близко ее воскресенье.

Строки воистину пророческие!

А. Ф. СМЕРНОВ,
профессор, доктор исторических наук

Часть первая Крушение империи



Не стая воронов слеталась...

*Я берег не самодержавную власть, а Россию. Я не убежден, что
перемена формы правления даст спокойствие и счастье народу.*

Николай II

1

Всю зиму семнадцатого года Бунин сиднем просидел в Москве. С каждым днем он все более отчетливо ощущал: над Россией сгущаются черные тучи. События действительно надвигались грозные, небывалые. Бессмысленные жертвы в мясорубке Первой мировой войны, витрины магазинов, пустевшие с каждым днем, словно бывшее изобилие с них слизнула корова, стихийные, а также еще больше раздуваемые экстремистами волнения в солдатской и рабочей среде к концу февраля родили исток, вскоре превратившийся в бурный поток кровавой Гражданской войны.

В Петрограде первые признаки грозы появились 23 февраля. На митингах, которые возникли словно сами собой, никому не известные прежде ораторы, охрипшие от бесконечных речей, с размашистой жестикуляцией и самоуверенными манерами, призывали к «свержению кровавой деспотии Романовых».

Призывы, кажется, достигали цели. На следующий день митинги сменились вооруженными столкновениями с полицией. Булыжные мостовые Невского и Лиговки окрасились первой кровью, первые трупы доставили в морги. 25 февраля встали все фабрики и заводы, прекратились занятия в учебных заведениях. Петроград вышел на улицу. У городской думы разыгралось настоящее сражение толпы с полицией. Пламя сражения перекинулось на Знаменскую площадь. Казаки, всегда верные престолу и присяге, вызванные для усмирения толпы, вдруг перекинулись на ее сторону и обратили в бегство конную полицию.

Гимназисты, студенты, молодые рабочие, какая-то пьяная рвань – все улюлюкали и норовили камнями попасть в головы полицейских. Кто-то из них был ранен и тут же затоптан лошадьми.

Толпа радостно приветствовала казаков. Сцена братания была нежной до трогательности. Даже несколько пансионеров Смольного института сумели ускользнуть от пристального взора воспитательниц и прикрепляли пышные красные банты, изготовленные их холеными ручками, на богатырские груди казаков. Те смущенно улыбались и обещали:

– Не сумлевайтесь, барышни, мы царя Миколу с трону сдвинем...

Власти воспротивились этому вольнолюбивому желанию, и 26 февраля, в день воскресный, центр столицы был оцеплен патрулями, установлены пулеметы, для связи между войсками устроены телефонные коммуникации.

Но народную вольницу разогнать по домам было уже невозможно. Громадные толпы демонстрантов, размахивая красными знаменами, ходили по улицам, собирались на митинги, с восторгом пели:

Весь мир *наильно* мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Были пущены в ход пулеметы. Морги переполнялись все более. Несчастные родственники, преодолевая себя, вглядывались в окоченевшие лица трупов, пытаясь и одновременно страшась отыскать близких в этой окровавленной груде тел, раздетых догола, сваленных уже не только на анатомические столы, но просто на пол, друг на друга.

В понедельник 27 февраля должна была начаться сессия Государственной думы, уже отложенная 14 февраля. Но вечером 26-го пришло удручающее известие: правительство распустило Думу – последний оплот порядка.

Почти одновременно с этим, в непосредственной близости от Таврического дворца, в казармах Волынского и Литовского полков началось восстание.

Солдаты в беспорядке пошли к Таврическому дворцу. Одновременно толпы отправились к арсеналу, заняли его и, захватив оружие, бросились к тюрьмам освобождать арестованных, не только политических, но и уголовных, подожгли Литовский замок, окружной суд, охранное отделение и т. д.

Митинги перешли в беспорядки, беспорядки обратились в революцию. Царица Александра Федоровна во всем обвинила погоду. Она сообщила мужу в Ставку: это «хулиганское движение мальчишек, девчонок, рабочих, не желающих работать. Но если были бы морозы, то тогда они все сидели по домам».

Увы, в этих гневных словах много правды...

Серьезно был настроен председатель Государственной думы М. В. Родзянко. Он отстучал телеграмму Николаю II в 303 слова:

«...Народные волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный характер и угрожающие размеры. Основы их – недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки, но главным образом вполне недоверие к власти, неспособной вывести страну из тяжелого положения. На этой почве, несомненно, разовьются события, сдержать которые можно временно ценою пролития крови мирных граждан, но которых при повторении сдержать будет невозможно. Движение может переброситься на железные дороги, и жизнь страны замрет в самую тяжелую минуту...

Государь, спасите Россию, ей грозит унижение и позор... Безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна, и поручите ему составить правительство, которому будет доверять все население».

Государь внимательно прочитал телеграмму. Ни один мускул не дрогнул на его красивом лице. Как всегда, он был сдержан, ровен и приветлив.

– Константин Дмитриевич, – обратился Николай Александрович к генерал-адъютанту Нилову, – почему бы нам не сыграть в домино? Это отвлечет от тягостных раздумий.

Позвали кого-то двоих. Сыграли две партии. Мрачное настроение все же не проходило.

Тогда Николай Александрович, неспешно отпивая чай из невесомой чашки тонкого фарфора, выпускавшего собственным Императорским заводом в Петербурге, продиктовал телеграмму генералу Хабалову, главнокомандующему Петроградским военным округом: «Повелеваю вам прекратить с завтрашнего дня всякие беспорядки на улицах столицы, недопустимые в то время, когда отечество ведет тяжелую войну с Германией. *Николай*».

Про себя император решил: «Еду в столицу!»

Стало легче, но ненадолго. В час ночи наступившего нового дня – 27 февраля – Николай получил новую телеграмму Родзянко: «Занятия Государственной думы указом Вашего Величества прерваны до апреля... Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров... Гражданская война началась и разгорается...»

Государь протянул телеграмму Нилову.

Прочитав текст, царский любимец налил себе большой фужер водки и зачерпнул серебряной ложкой икру. Выпив водку, он забыл съесть икру, но зато с неожиданным надрывом произнес:

– Помните: все будем висеть на фонарях. Наша революция прольет столько крови, сколько не видел свет.

Царь посмотрел на него почти с ненавистью, укоризненно покачав головой. Почему-то он сразу подумал о детях. И вдруг воспоминание пронзило его: ровно год назад, 27 февраля, после доклада того же Родзянко, обвинявшего Распутина во всех смертных грехах, в том числе в темных делишках с аферистами Рубинштейном, Манусом и другими «тыловыми героями», он распорядился выслать Распутина в Тобольск.

Увы! Жена устроила истерику, на горе самого Григория Ефимовича, уговорила мужа отменить это решение, которое могло того спасти.

В это время с какой-то бумагой вошел граф Граббе. Николай обратился к нему:

– Почему в столице голод? Ведь мне много раз докладывали, что в России достаточно продовольствия.

Он испытующе смотрел на графа. Тот неопределенно пожал плечами.

– Тогда я вам скажу: это откровенное вредительство. Это назло правительству, чтобы вызвать недовольство толпы.

Резко повернувшись, царь вышел из помещения. Граббе хранил молчание. Нилов, услышав о продовольствии, выпил еще водки и на этот раз откусал икры. Тихонько замурлыкал:

Не стая воронов слеталась...

2

Главным источником ругани, угроз и оскорблений государя, самодержавия и правительства стала трибуна Государственной думы. Понять причины сей оппозиции несложно.

Проистекала враждебность Думы уже только от ее состава. Кто входил в нее? Крестьяне, поселяне, судебные медики, лаборанты, учителя гимнастики, смотрители духовных училищ, типографские наборщики, зауряд-прапорщики, рабочие фабрик.

И если поодиночке они были людьми неглупыми, то, сбившись в кучу, словно теряли разум. Зато проявился синдром толпы – необузданная агрессия.

В графе «образование» слишком часто было написано: «учился в церковно-приходской школе» или еще более выразительное – «грамотой владеет». И вот эти люди, призванные из полного ничтожества, вдруг получили колоссальную власть. Еще вчера они трепетали городского, а теперь, поднявшись на трибуну, они могли с самым умным видом делать суждения «о прогнившем самодержавии». Говорили они так только потому, что это считалось модным, прогрессивным.

Газетчики, которым это самое «прогнившее самодержавие» дало право свободно печатать в газетах любое мнение, использовали это право во вред государству и самодержавию. Большинство из этих писак ничего за душой не имели, кроме заполненной до краев чернильницы и язвительности тона, происходившей от язвенной болезни и разлития желчи.

И если вчитаться в протоколы заседаний Думы, то четко прослеживается связь: чем ничтожней и преступней была личность, тем она сильнее вопила о «безобразиях и преступлениях».

Да, автор не описался: в Думу нередко попадали откровенные уголовники. Лишь один пример. В Петрограде завелась дерзкая банда воров-взломщиков. Они вскрывали сейфы, но не

брезгали кражами из обывательских квартир. За ними числилось немало страшных преступлений, в том числе и убийств.

Однажды, во время взлома несгораемой кассы в конторе графа Строганова, грабители были схвачены. Выяснилось, что в банду входило четырнадцать человек, в том числе две женщины. А главарем, к ужасу и возмущению общества, оказался тридцатилетний член Государственной думы Алексей Федотович Кузнецов, крестьянин Старицкого уезда. Еще один «обличитель»!

И вот эти-то ничтожества диктовали политику государю...

* * *

Лидеры различных партий, входивших в Государственную думу, суетились. Трон, который они энергично помогали расшатывать, накренился так, что стало ясно: императору на нем не удержаться. Вечером 1 марта в Петрограде состоялось объединенное заседание Временного комитета Думы и Временного правительства. Решать судьбу России явились Ю. М. Стеклов (Нахамкес), Н. Н. Суханов (Гиммер), Н. С. Чхеидзе и другие. Говорили долго. Решили: провести амнистию по всем делам, в том числе и террористическим, объявить абсолютную свободу слова, стачек, печати и прочего, с распространением всего этого и на военнотружущих, отменить все сословные и национальные ограничения и т. п.

Работали без сна, питались бутербродами – на бегу. А. И. Гучков и В. В. Шульгин были командированы к государю в Псков. Поезд отправлялся в три часа дня. Экзальтированные дамы, собравшиеся на дебаркадере, посылали воздушные поцелуи и взвизгивали:

– Без отречения не возвращаться!

В десять вечера гонцы прибыли в Псков и тут же были потребованы к императору. Гучков протянул царю «набросок»...

Государь пробежал глазами бездарные строки, усмехнулся:

– С вашего позволения, свое отречение я сам составляю.

Ровно через час пятнадцать Николай II передал Гучкову листок бумаги, которую обычно в Ставке использовали для телеграмм. На машинке с мелким шрифтом, без единой пометки было отпечатано:

«Ставка

Начальнику Штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить Нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской Нашей армии, благо народа, все будущее дорогого Нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия Наша совместно со славными Нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной думой признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Нашему брату, Нашему великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату

Нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний, помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

Г. Псков.

2-го марта 15 час. 05 мин. 1917 г.

Николай».

И все это скреплено подписью: «Министр Императорского Двора генерал-адъютант граф Фредерикс».

Император протянул бумагу и с грустью выдохнул:

– Я берег не самодержавную власть, а Россию. Перемена формы правления не даст счастья народу.

Низко поклонившись царю, Шульгин, испытывая прилив неловкости, вышел из вагона. За ним по шпалам семенил Гучков.

– Какую дребедень мы предложили подписать царю! И как благородны его прощальные слова. Нет, Россию он любит не меньше нашего. – Шульгин тяжело вздохнул.

Один из умнейших людей Госдумы, Шульгин наконец добился своей цели – свержения Николая. Но, странное дело, на душе было пасмурно, словно давили тяжелые предчувствия.

Старый уютный дом был сломан.

* * *

...В среду 26 марта 2003 года я держал в руках этот листок с отречением. Во время посещения Государственного архива я получил его из рук сотрудника И. С. Тихонова. Признаюсь, я не мог сдержать слез. Подумалось: боже, какая роковая ошибка! За нее Россия заплатила десятилетиями рабства и морем крови.

3

В Петроград потянулись представители различных фракций и партий, все те, кто мечтал занять освободившееся место на троне или хотя бы где-то рядом, откуда можно в верноподданническом экстазе дотянуться до стоп нового домоправителя.

Воскресным утром 12 марта 1917 года в Петроград прибыл транссибирский экспресс. Среди пассажиров, ступивших на перрон, самыми неприметными были, пожалуй, трое, возвращавшиеся из ссылки. Один из них – депутат IV Государственной думы Муранов. Другой – недоучившийся студент Московского университета, редактор газеты «Правда» в 1913–1914 годах Лев Каменев (Розенфельд). Третьим оказался тридцатисемилетний человек в барашковой шапке, невысокого роста, с чуть согнутой в локте левой рукой. Когда-то в детстве он повредил ее, и она навсегда осталась нездоровой. Звали его Иосиф Джугашвили. Это имя пока что никому ничего не говорило, оно было известно лишь секретным службам охранного отделения да кучке товарищей по малочисленной партии большевиков. Себя он называл внушительной кличкой – Сталин. Но друзья обращались к нему короче – Сосо или Коба. Свои статьи и книги он подписывал «К. Сталин».

– Сосо, давай мешок помогу донести! – вызвался Каменев, весь сиявший счастьем от предчувствия великих дел, которые ждали его.

Сталин кисло усмехнулся:

– Помоги себе, Лева!

Он не любил показывать свои слабости, в чем бы они ни выражались. Может, поэтому Сталин как-то особенно ухарски забросил скудный мешок за спину и споро, не оглядываясь, зашагал по дебаркадеру, и грязный мокрый снег чавкал под его стоптанными сапогами.

Спутники заспешили за ним.

Словно желая смягчить резкость тона, Сталин вдруг чуть сбавил ход, повернулся к Каменеву и мило улыбнулся. Его узкое рябое лицо сразу сделалось хитровато-добродушным.

– Помнишь, Лева, старую мудрость: «Никто тому не поможет, кто сам себе помочь не может»?

У этого сына сапожника была на редкость острая память. Казалось, он запоминал навсегда однажды услышанное или прочитанное.

Придет день, когда Сталин пошлет на позорную смерть бывшего приятеля. Тысячи ораторов, с партийными билетами и без таковых, сотни газет и брошюр с садистским восторгом будут клеймить Каменева как «мерзавца, двурушника, врага народа и главаря бандитской шайки, ставшего на путь подлой контрреволюционной борьбы против народа и партии». И вот тогда Лева никто не поможет.

* * *

Ленин прибыл в Петроград тремя неделями позже – 3 апреля. Встреча, щедро оплаченная из сейфов враждующего государства – Германии, потрясала воображение размахом и театральностью. На сей раз почти трезвые матросы изображали почетный караул. В полном составе явился организатор торжеств – Петроградский Совет во главе со своим председателем, меньшевиком Николаем Чхеидзе. Толпа любопытствующих притащилась на площадь Финляндского вокзала.

Путь к большевистскому штабу Ильич был вынужден проделать стоя на броневике – так было расписано сценарием. Хотя водителю приказали соблюдать осторожность и он тащился со скоростью черепахи, но колеса тряслись по брусчатке, и большевистскому вождю на металлической площадке было неуютно. Опасаясь сверзнуться на землю, Ильич мертвой хваткой вцепился в поручень.

Ильича ждала российская история. И солидный счет – за организацию встречи.

* * *

Последним из этой компании явился Лев Давидович Троцкий (Бронштейн). Случилось это 2 мая. Серое, прижатое к мокрой земле небо хмурилось свинцовыми тучами.

Он был осведомлен о пышной встрече Ленина. На броневик Троцкий рассчитывать не мог, ибо тот не был предусмотрен сметой, которую составлял сам Ильич. Но на духовой оркестр и толпу с цветами – почему же нет? Деньги не очень большие. Ведь в 1902 году, после первой встречи в Лондоне с Ильичем, тот назвал его «очень энергичным и способным товарищем». Правду сказать, после этого Ленин обзывал его «Иудушкой» и еще по-разному, но кто не знает, что предводитель большевиков весьма неуравновешен?

Тщательно выбритый, в новом костюме, Троцкий влево и вправо поблескивал золотым пенсне, выискивая на перроне Финляндского вокзала встречающих. Увы! Ни транспортных средств, ни матросских шпалер его не ожидало.

Но все же Троцкого приветствовало несколько десятков людей – преимущественно молодых, восточного типа. Был и кинооператор, суетившийся возле громадной камеры на треноге. Он запечатлел будущего наркома иностранных дел. Не пройдет и года, как Троцкий по приказу

Ленина сдаст Россию Германии, сделает ее на какое-то время вассалом государства, находившегося в агонизирующем состоянии и не способного продолжать войну.

Троцкий стоял на подножке пульмановского вагона, с хохолком на лбу и с козлиной бородкой – ну истинный черт, как его изображали на русских лубках.

– Носильщик! Куда же вы, подойдите быстро! – требовательно звал Познанский – бывший студент, а теперь ревностный исполнитель обязанностей денщика.

Носильщик предпочел другого пассажира. Тяжело сопя, Познанский сам поволок за патроном его тяжеленные чемоданы немецкой кожи.

* * *

Газета «Руль» заметила это появление. Она сообщила, что вновь прибывший получил от германского патриотического ферайна десять тысяч долларов для ликвидации Временного правительства.

В газете прогрессивного писателя и приятеля Ленина Максима Горького «Новая жизнь» Троцкий публично возмутился «господами лжецами, кадетскими газетчиками и негодяями». Нет, он не отрицал факта получения денег от «немецких рабочих». Он кипятился лишь из-за цифры.

Это, впрочем, не убедило петроградскую контрразведку. В ее сейфе появились любопытные документы, о которых большевикам хотелось бы забыть – навсегда.

...И княжество киевское

1

Весна несчастного 1917 года случилась ранней, полной грязной слякоти и сырых, бессолнечных дней. Русский писатель почетный академик Иван Бунин направлялся в Северную столицу.

Шипя паром, подавая короткие гудки, черная металлическая громада поезда вкатила на дебаркадер Московского вокзала Петрограда.

Едва Бунин вышел из вагона, как в глаза ему бросилось небывалое прежде зрелище: на перроне, на путях и во всех привокзальных помещениях бродило, слонялось, без дела мыкалось множество какого-то праздного народа, словно не знающего, что ему делать, куда идти.

На площади оказался единственный свободный извозчик. Завидя подходящего к нему барина, тот встревоженно забормотал:

– Вам куда? Ежели, к примеру, на окраину, так я не поеду.

– Что так?

– Известное дело что. Шалят-с!

– Отправляйся-ка, братец, в «Европейскую».

Извозчик начал задумчиво чесать широкую, словно новый веник, бороду и как-то нерешительно промямлил:

– При нонешнем времени... К тому же овес дорог, значит, двадцать рублей будет.

Бунин задохнулся:

– Ты хоть Бога побойся, цена твоя ведь несуразная!

– Это уж как прикажете, но дешевле нынче не получается.

Бунин взъярился:

– Доигрались, свергли «ярмо самодержавной деспотии»! Тьфу! – Вздохнул. – Не пешком тащиться, вези.

Извозчик хлопнул вожжами:

– Вот, барин, вы сердать изволите, а я своего крестника Петруню вчера похоронил – прирезали. В четверговый день мы с ним утром вместе выехали, стоим, ждем московского поезда. Подошли какие-то двое, из себя нерусские, смуглые такие. Говорят: «Вэзи к энтенданским складам!» Петруня их повез. Эх, барин, видать, и впрямь лихо споро, приходит скоро. Нашли Петруню на Митрофаньевском кладбище. Задавили его эти самые, смуглые, да в склеп бросили. И нашли-то случайно. А у Петруни старики да трое малых детишек в деревне оставшись.

Бунин посочувствовал:

– Все под Богом ходим!

* * *

По Невскому, выбрасывая сизый дым, неслись авто с военными. Тряслись грузовики, набитые людьми в бушлатах и бескозырках. Матросы дружно, словно единая глотка, рявкнули:

Девки бегали по льду,
Простудили ерунду.
А без этой ерунды —
Ни туды и ни сюды!

Мужики и бабы, стоя на тротуарах, улыбались и приветливо махали руками. Зато барышни и дамы с гневом отворачивались.

Улицы, прежде такие чистые, были завалены мусором и семечной шелухой. По ним шла, перла, двигалась густая толпа солдатни, люди рабочего вида, наряженная прислуга с господскими детьми. Хотя день был будничный, у всех чувствовалось какое-то неестественно праздничное настроение. На каждом шагу попадались неизвестно откуда возникшие ларьки, лотки, киоски, под ногами путались разносчики товаров и продавцы. Уши закладывало от их нахальных криков:

– Леденец «Ландрин» – что тебе сочный мандарин!

– Манто на меху гагачьем с шелухой рачьей!

– Фото только для мужчин: красотка Нинель в мельчайших подробностях для услаждения взора.

– Кринолины проволочные медные – для любовных утех не вредные!

Бунин, всю зиму сиднем просидевший в Москве, был неприятно поражен громадными очередями, тянувшимися к москательным лавкам, к булочным, к дровяным складам и мучным лабазам. Обыватель стоял за мылом, керосином, спичками, солью, ситцем, калошами, сахаром, дрожжами, мясом, молоком, чаем, селедкой.

Извозчик повернул голову к Бунину:

– Это, барин, нарочно делают, вредят. Всю войну продукты были – стоило копейки, жри до пуза. А с этой зимы – будто сквозь землю провалилось. А почему? Чтоб народ раскалить. Это германские шпиёны делают. И начальство им потакает. Потому как начальство тоже жулье. Для того законного царя и свергли, чтобы самим попользоваться.

В этот момент, бойко долбя в барабан и оглушительно ухая медными трубами, из переулка вывалился вооруженный отряд. Извозчик сдержал лошадь и хрипло, с ненавистью сплюнул:

– Во-во! Вот эти игрушки хреновы все и устроили. Воевать они, знамо дело, не желают, а тут под музыку ногами кренделя выписывают, конский навоз месят! – Горько вздохнул: – Попомните мое слово, барин. Нонче народ, как скотина без пастуха. Царь – хороший или плохой, а все помазанник. А теперь, рассказывают, какие-то временные. Чего с их возьмешь? Теперь все перегадят, нас и себя погубят.

– Что же делать?

– Делать? Делать уже нечего. Делать надо было прежде, когда только начали фулюганить. Твердую власть держать надо было. А уж нынче – шабаш! Народ наш баломутство любит.

Бунин живо почувствовал, что этот дремучий мужик, за всю свою жизнь, быть может, не державший в руках книги, говорит то, во что бояться верить просвещенные интеллигенты и что неминуемо ждет их всех – «шабаш».

* * *

Подъехали к «Европейской». Возле гостиницы стоял грузовик, увешанный красными тряпками. Возле него – праздная толпа. На грузовике размахивал руками узкоплечий человек в длиннополом засаленном пиджаке. Брызжа слюной, он громко выкрикивал:

– Смерть буржуйам, сосущим кровь! Истребить дворян, купцов и фабрикантов – злейших врагов трудового народа! Погромщиков-черносотенцев – к ногтю, как тифозную бактерию! Конец войны с германцем! Погибнем все как один за свободу!

Принимая деньги, мужик кивнул в сторону оратора:

– Этот нехристь воевать не хочет, а я за его слабоду, вишь, погибнуть должен! А на кой ляд мне его слабода, если у меня в деревне три лошади и хозяйство? На ем лишь лапсердак, вот он и надрывается за слабоду.

И с неожиданным остервенением хлестанув лошадь, разламывая надвое толпу, понесся так, словно гнала этого российского мужика тоска и дурные предчувствия.

2

В те дни, окруженный восторженными почитателями, льстецами и просто прихлебателями, в Петрограде находился самый, пожалуй, знаменитый и самый богатый из русских писателей Максим Горький. С Буниным его связывала старинная дружба. Более того, в предвоенные годы Иван Алексеевич был частым гостем в Сорренто.

Теперь добрые отношения стали давать трещину. Бунин с брезгливостью относился к увлечениям Горького политикой и особенно порицал поддержку им большевиков.

Но Горький задумал напечатать десятитомник Ивана Алексеевича. Вот и следовало обсудить это дело с Зиновием Гржебиным, ведавшим делами издательства «Парус».

Когда-то, еще в 1906 году, в другом горьковском издательстве – «Знание», размещавшемся в доме 92 по Невскому проспекту, вышел первый сборник из серии «Дешевой библиотеки». Естественно, что это были творения самого мэтра – «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» и «Легенда о Марко». Объявили первые сто книг, которые готовило издательство.

Бунин носил в кармане только что отпечатанную книжечку и, весело улыбаясь, показывал при каждом удобном случае:

– Из ста книг «всего лишь» тридцать пять самого Алексея Максимовича! Завидная скромность.

– А кто остальные авторы? – любопытствовали собеседники.

– Огласим список блестящих авторов, так сказать, лучших из лучших! – произносил Бунин с уморительным видом. – Тех, кто составляет цвет современной литературы. Итак, Максим Горький – тридцать пять книг, затем... – Он поднимал на слушающих глаза. – Как думаете, кто следующий? Сам великий гусярь – Скиталец, в миру Петров.

Заметим, что Скиталец знал Горького еще с 1897 года. Познакомился с Алексеем Максимовичем в Самаре, находился с ним в переписке. В 1900 году жил недели полторы у того в каком-то селе Мануйловка, на Харьковщине, о чем всю последующую жизнь вспоминал с особым удовольствием и что дало ему повод называть себя «учеником» Горького.

Скиталец действительно возил за собой гусли, на которых порой что-то пытался наигрывать, напуская на себя раздумчивый вид. Еще Скиталец почему-то считался лучшим другом Шаяпина.

– Сборники у нашего гусяря самые злободневные, – продолжал Бунин. – Вот, послушайте их названия: «Сквозь строй», «За тюремной стеной», «Полевой суд»... Ну прямо слезу вышибает!

– А кто еще?

– Еще Леонид Андреев, Гусев-Оренбургский, Серафимович – чохом на всех почти три десятка книг. Недурно! А вот у Семёна Юшкевича всего лишь шесть книжек.

– А сколько у вас, Иван Алексеевич?

– Меня, Куприна и Бальмонта «Знание» осчастливило по одной книжечке. Спасибо Алексею Максимовичу за внимание к нашим никому не нужным персонам. Где нам до Скитальца! Мы ведь даже на гусях брэнчать не научились.

* * *

И вот теперь, подходя к издательству «Парус», Бунин возле входа столкнулся с Горьким, выходявшим с толпой приближенных. Швейцар почтительно обнажил перед Алексеем Максимовичем лысую голову, сдернув с нее обшитую золотым галуном фуражку.

Горький, высокий, несколько сутулый, увидав старого друга, радостно прогудел, заокал: – Кого вижу: в Питере сам Бунин! Почему не звоните, почему не заходите, Иван Алексеевич?

– Я только что с дороги. Да и вы, Алексей Максимович, человек занятой, все политикой увлекаетесь...

Горький примиряюще сказал:

– Почто нам пикироваться? В честь Финляндии организовали бо-ольшое торжество. Открываем выставку, потом банкет. Вот, приглашаю вас.

– Все гении, поди, соберутся? – не без ехидства произнес Бунин.

Горький недовольно свел рыжеватые брови, из-под которых глядели зеленые уклончивые глаза, крикнул, прокашлялся и мягко возразил:

– Какие там гении! Скромные служители культуры...

Бунин, усмехнувшись, продолжил:

– А как же! Это прежде у нас гении были наперечет – Пушкин, Лермонтов, Толстой... Теперь же гений косяком попер: гений Мережковский, гений Брюсов, гений Блок, гений Северянин!

Он чуть не выпалил «гений Горький», но удержался. Алексей Максимович покачал головой, что-то неопределенно хмыкнул, а Бунин запальчиво продолжал:

– Урожай гениев! И возвращает этот урожай толпа. Литература ведь нынче не мыслит себя без улицы. А улица, толпа никогда меры не знает, она страшно неумеренна в своих похвалах. Вот она и провозглашает своих «гениев».

Горький промолчал, потом положил большую руку на плечо Бунина:

– Пошлого в этом мире много. Но не все так плохо, право. Вы, как обычно, в «Европейской»? У меня автомобиль, так я за вами заеду. Как на ковре-самолете домчимся. Не банкет, лукуллов пир обещают. Все будут рады вам, Иван Алексеевич. – Он встрепенулся: – Прощайте, дела ждут!

На этом диалог был окончен. Горький еще раз крепко обнял Ивана Алексеевича, прижался жесткой щеткой усов к его щеке, дыхнул на него запахом дорогого табака, уселся в лаковое авто, фырчавшее у подъезда, и быстро покатыл.

3

И все произошло так, как обещал Алексей Максимович. Был автомобиль, была выставка, был лукуллов пир. И съехались на него все те, кого газетчики давно с пышной безвкусицей называли «цветом русской интеллигенции».

Собравшиеся оказались самыми различными людьми – и по возрасту, и по своему положению. Здоровые, сытые, самоуверенные мужчины в великолепных фраках, благоухающие французским одеколоном. И тут же дряхлая размалеванная старуха со вставной, выпадающей при разговоре челюстью и клочками седых волос на мертвенном черепе, приобщившаяся к культуре едва ли не во времена Гоголя. Кроме того, в зал набились знаменитые и вовсе неизвестные, молодые и старые писатели, актеры, художники, кто-то из министров Временного правительства, иностранные дипломаты, посол Франции.

В центре внимания были Горький и гремевший в то время финский художник Галлен. Все толпились вокруг них, перебивая друг друга и не слушая ответов, без конца задавали им вопросы о политике, об Учредительном собрании, о делах на фронте и, конечно, вечное – «о творческих планах».

Горький устало улыбнулся, почесал утиный нос с широкими ноздрями и в веснушках, указал широкой, с желтыми от частого курения ногтями рукой на стол:

– У нас всех первоочередная задача – отвесть сих даров полей, лесов и рек... Иван Алексеевич, пожалуйста, садитесь поближе. – И он усадил Бунина между собой и Галленом.

Засуетились официанты, заскрипели стулья, тонко зазвенел хрусталь. Горький поднялся во весь свой долгий рост, выждал паузу, провозгласил:

– Буду краток. Самое дорогое на свете – дружба. Дружба, сердечные отношения как между людьми, так и между государствами. С чудесной Финляндией и ее прекрасным народом Россию связывает давняя искренняя приязнь. Пьем за эту дружбу, за нашего северного соседа.

Раздались аплодисменты, крики «ура!», звуки сдвигаемых бокалов – все с аппетитом выпили. На несколько минут воцарилось напряженное молчание: цвет интеллигенции тщательно пережевывал закуску.

Заглатывая жирный кусок лосося и салфеткой приводя в порядок розовые уста, встал с бокалом Мережковский.

– Пр-рошу слова! – пророкотал Дмитрий Сергеевич, сладко улыбнувшись и заранее предчувствуя наслаждение от тех умных и возвышенных слов, которые он сейчас произнесет.

Из года в год Мережковский выпускал толстые книги, в которых было много взволнованного многословия, вычурных словесных оборотов, претензий на особую, якобы только ему одному доступную мудрость. И он убедил не только себя, но и многочисленных своих почитателей, что является неким мессией, бичующим пороки и открывающим человечеству дорогу в прекрасное будущее.

– Милостивые государ-рыни, милостивые государи! Мой взор улавливает горячий блеск ваших глаз, и ваш внешний вид ясно говорит о том божественном вдохновении, которое вы все испытываете, а я вместе с вами!

Мережковский стал похож на свадебного генерала, за четвертной билет произносящего загодя вытверженные речи.

– Но в отличие от нашего уважаемого мэтра, – Мережковский шаркнул ножкой в направлении Горького, – я не осмелился бы предлагать пить за «дружбу с северным соседом».

Мережковский по-актерски то понижал голос, то вдруг возвышал чуть не до верхнего «си»:

– Нет, непозволительно забывать, что эта самая «дружба» возникла в результате русско-шведской междоусобицы. Вспомним 1809 год. Русский тиран, сатрап с ангельским ликом – Александр I злодейски захватил красавицу Финляндию.

Вера Фигнер, сидевшая на другом конце стола, обнажив щербатый рот, визгливо прощбетала:

– Ах, прекрасно! Наш златоуст прав: это не дружба, это насилие!

– Да пошлите вы к черту эту Богом забытую Россию! – повернулась к Галлену жена Мережковского, поэтесса Зинаида Гиппиус. – Россия идет ко дну, только слепой этого не видит. Зачем вам такая компания?

Мережковский, вдруг игриво улыбнувшись, переменил тон:

– Осушим наши бокалы с прекрасным французским напитком в русском доме за скорейшее освобождение Финляндии от российского деспотизма. Ура!

– Правильно! Ура! – раздались голоса за столом. – Пьем за финскую свободу! Долой российскую экспансию!

Горький недоуменно озирался вокруг. Бунин, не желая поддерживать *такой* тост, демонстративно отодвинул от себя бокал. Министры, художники, поэты лобызались с финнами, поздравляли их с «зарей свободы», с «избавлением от деспотизма», нервно вскрикивали:

– Пусть озарит вас солнце свободы! Будь проклят русский деспотизм!

Бунин глядел в окно, видел внизу Марсово поле, недавно кощунственно превращенное в кладбище, и ему становилось страшно от того позорища, на котором он присутствовал.

Наконец он не выдержал, резко поднялся. Сразу стихло. Мережковский перестал жевать, Фигнер раскрыла щербатый рот.

– У меня сейчас такое ощущение, что я сижу не в кругу соотечественников, а в каком-то враждебном России государстве, – жестко произнес Бунин. – Разве не нас воспитала Россия? Разве не ее великий народ дал нам возможность печатать книги, устраивать выставки, разъезжать по лучшим курортам мира? Так кого мы хаем? Каких черных воронов зовем на свою голову? Если вспомнить историю, так надо весь мир разбить по мелким клочкам, Америку вообще закрыть. Да и то место, которое зовется Петербург и где сейчас Дмитрий Сергеевич аппетитно закусывает, к России отошло всего два с небольшим столетия назад. Что, нам отсюда бежать надо? И Черное море с югом России бросить на произвол судьбы? Дурная логика, господа! Что предлагается сделать из России? Великое княжество Московское? Провести границы княжествам Владимирскому, Киевскому, Новгородскому? Чтобы нас поодиночке били? Конечно, финны – народ замечательный, талантливый. Но именно с Россией расцвела его культура, народ стал жить богаче. И никогда русские не давили ни финнов, ни кого другого.

Бунин гневно блеснул глазами, перевел дыхание.

– Мы, русские, всегда давали другим нациям куда больше, чем брали себе. И речь идет не только о нашей культуре, не имеющей себе равных в мире. Не мы за заработками на чужбину ходим, к нам испокон веку французы да немцы в услужение идут. Так выпьем за то, чтобы Русь оставалась великой и могущественной!

Бунин осушил бокал.

После некоторого молчания вдруг раздались дружные аплодисменты, крики: «Да здравствует Россия! Слава великой родине!»

В этот момент, к всеобщему великому изумлению, к Горькому и Бунину без приглашения подошел молодой долговязый поэт по фамилии Маяковский. Он, выдвинув между ними стул, стал есть с их тарелок, пить из их бокалов. Горький расхохотался, Галлен вытаращил глаза, Бунин брезгливо отодвинулся.

Маяковский это заметил и весело спросил:

– Вы меня очень ненавидите?

– Отнюдь нет, это было бы для вас слишком высокой честью.

Маяковский поднялся, ухмыльнулся и, вихляя задом, удалился. Вскоре Иван Алексеевич стал прощаться с Горьким.

– Мне надо идти. – Помолчал, добавил: – Да и стыдно жрать здесь икру, когда очереди стоят за хлебом.

...В октябре семнадцатого года выборы в парламент Финляндии дадут большинство буржуазным партиям. 6 декабря парламент провозгласит независимость. 31 декабря Ленин и Сталин поставят подписи под декретом Совета Народных Комиссаров, признавшим эту самую независимость.

4

Наступила Пасха. Стояли чудные дни, полные тепла и света. Деревья выбросили свежую листву, на газонах пробилась первая робкая травка.

В окопах все еще находились в счастливой эйфории, не успевшей выветриться после отречения Николая II. Флаги Российской империи сменили красные полотнища. Повсюду сыскались охотники, без усталости малевавшие лозунги: «Да здравствует демократическая республика!», «Да здравствуют свободные народ и армия!», «За всеобщее равенство!», «Да здравствует свободная Россия!».

Российские солдатушки с постыдной заботливостью снабжали германцев хлебом, в ответ получали расчески и непристойные фото.

На пасхальные дни по давней традиции на передовую завезли яйца. Для офицеров их красили вручную – умельцы изображали буквы «ХВ», для рядовых – в кастрюлях с луковой шелухой.

И повсюду – митинги, митинги... Война сама собой отходила куда-то на второй план. Катастрофически увеличивалось количество дезертиров. Митинговать – не воевать!

Бунин, оказавшийся в Петрограде, метался, как зверь во время лесного пожара. Теперь он решил ехать в имение родственников, что в Елецком уезде, – Глотово.

На душе было тяжело. Давило предчувствие, что он последний раз видит Северную столицу. Перед отъездом зашел в Петропавловский собор.

Все было настезь: и соборные двери, и крепостные ворота. Иван Алексеевич в молитвенном порыве опустился на колени перед образом Спасителя. Для себя он ничего не просил. Лишь сухие уста жарко шептали: «Господи, спаси и сохрани Россию, не допусти, чтоб пришлые лиходеи разорили ее!»

Но, видать, не внял Господь молитвам.

Прогрессивные тупицы

1

Деревенскому дому было полтора века. Бунина умилял простой сельский быт, неспешный ход жизни, трогала мысль, что стены его дома хранят тепло дыхания тех, кто был здесь некогда хозяевами. Они оглашали его стены родовым криком, учились произносить первые слова; радовались солнцу, ласкам матери, вниманию отца; росли, заходились в холодке первого поцелуя, старились, умирали. Они исчезли навек, чтобы стать для живущих только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины.

И вот смутные образы этих навсегда ушедших в мировую провальную неизвестность предков очень были дороги Бунину, волновали его очарованием прошлого.

Бунин вышел в сад. Набежал шелковисто-нежный ветер. Над головой зашумела, закачалась древесная зелень, пестро замелькала, обнажая знойно-эмалевое небо.

Он жадно вглядывался в даль, в синеющий на горизонте вал леса, в нежную изумрудность озимых, в фантастические картины облаков и думал: «Господи, да ведь все это было таким же и сто лет назад, и во времена Ивана Грозного. Спасибо Тебе, Создатель, за то, что Ты послал меня на эту прекрасную землю. Как я люблю это бледное небо, эти бескрайние просторы, которые зовутся Русью! – Он осенил себя крестным знаменiem. – Странно, что прежде я куда-то стремился, изъездил весь лик планеты, а ведь счастье было здесь, совсем рядом».

* * *

Лето быстро набирало силу, все гуще делалась зелень, все более жаркими стояли полдни. Но в этом земном очаровании больше не было ни тишины, ни мира. Беспорядки перекинулись из города в деревню, приобрели дикий разгул и бессмысленную жестокость.

Под утро 24 мая Иван Алексеевич был разбужен шумом и криками. Встревоженный, он выглянул в распахнутое окно. Слева, на взгорке, нервно колыхалось пламя, горько тянуло дымом.

На ходу надевая одежду, Бунин выскочил во двор. Горело гумно, пламя перекинулось на две риги, и их тут же слизнуло жарким языком пожара. Чуть позже, когда светало, вспыхнула изба, стоявшая в одиночестве, в километре от Глотова. Уже в полдень загорелся скотный двор в усадьбе ближайшего соседа Бунина, арендатора.

Зажигателя поймали. Им оказался мужик, имевший с соседом в давние времена судебное дело. Поговорив малость с зажигателем, мужики его отпустили, а почему-то схватили пострадавшего. Они повалили в дорожную пыль арендатора – молодого сухопарого человека, – били его ногами и черенком от лопаты, азартно вскрикивая:

– Сам небось поджег, ишь, какой подлец! Дай-ка врежу ему по ребрам, а теперь по толстой ряшке. Ишь, паразит, за наш счет нажрал, буржуй проклятый! Вот тебе, вот...

Этот арендатор приехал из Ельца, работал как приговоренный – от зари и до зари – и тем самым вызывал зависть и злобу местных бездельников.

Бунин растолкал озверевших мужиков, возмутился:

– Что вы делаете? За что вы его бьете? На каторгу захотели?

Решительный и воинственный вид Ивана Алексеевича заставил мужиков остановиться. Погорелец не в силах был подняться с земли, он громко стонал, его лицо было разбито в кровь. Кто-то буркнул:

– И то, чего мы навалились? Пошли по домам...

Вдруг из толпы выскочил какой-то солдат с бритой головой, видимо дезертир, в изношенной шинели и в старых, сбившихся сапогах. Он почти в упор подошел к Бунину, обдал его запахом перегара и табака. С дурной ухмылкой выдохнул:

– А ты, барин, чего тут путаешься? Своего брата буржуя защищаешь?

Какая-то баба в богатом вечернем платье, с золотым по вороту шитьем, явно с барского плеча, ткнула пальцем в Бунина:

– Он тут, поди, первый кровосос!

Бунин брезгливо отступил на шаг и, не умеряя пыла, кричал мужикам:

– Ведь он не помещик, он землю арендует. Работает не меньше вашего. Какой же смысл ему жечь усадьбу?

Солдат, вертя яйцевидной головой, продолжал наступать:

– Ты, барин, про кинситацию слыхал? Это такой указ вышел, чтобы всех кровососов помещиков перевести. Ты тоже буржуй. Тебя следует предать пролетарскому суду и незамедля в огонь положить... Нам за это награду дадут, на выпивку.

– Чего стоите, швыряйте его в огонь! – сиплым сифилитичным голосом деловито подержала баба. – Делов-то! – Она протянула руки с короткими грязными пальцами.

Бунин тут же бы полетел в огонь, если б за него не вступился кто-то из сельчан:

– Не надо! Мы барина в Учредительное собрание выберем. Пусть он там за нас пролазывает.

Бормоча ругательства, баба и солдат с неудовольствием отступили.

«И случись еще пожар – а ведь он может быть, – могут и дом зажечь, лишь бы поскорей выжить нашего брата отовсюду, могут и в огонь бросить», – записал Бунин в дневник.

Вот уж точно – «из искры возгорится пламя». Вся богатая и прежде счастливая Россия уже полыхала пламенем бунтов и грабежей.

2

Брат Евгений ездил в Елец. Там он раздобыл изрядно зачитанные, с маслеными подтеками и рваными углами номера газеты «Речь», «Русское слово», «Орловский вестник».

Иван Алексеевич жадно ухватился за чтение. Он увлек брата в тихий угол сада, удобно разместился на широкой, источенной дождем и солнцем скамейке, страстно заговорил:

– Нет, Евгений, не уверяй меня в обратном – мир сошел с ума! Ты только послушай, что делается, – убийства, грабежи, поджоги...

Брат иронично улыбнулся:

– Мир никогда нормальным и не был. Вся его история – это история душевнобольного.

Иван Алексеевич досадливо поморщился:

– Ну, положим, до тебя это Герцен хорошо объяснил. И разве до шуток в такое страшное время! Вот видишь, сообщают в газете цифру погибших во время демонстрации четвертого июля в Питере – пятьдесят шесть человек. Это только представить надо... А сколько покалеченных!

Евгений продолжал пикироваться:

– Кто посылал их на улицу? Сидели бы дома, пили чай из самовара. И никаких не было бы жертв. Так-то!

Иван Алексеевич промолчал.

– Вижу, не желаешь обсуждать, – не унимался Евгений. – А ведь в споре рождается истина.

– Не истина, но глупость – это точно! – отмахнулся Бунин. – Каждый несет свое, собеседника не слушает – вот ваши споры.

– Не буду мешать, мне идти надо в соседнюю деревню!

* * *

Газеты с тревогой сообщали, что «большевики проводят среди войск зловредную агитацию, саботируют подвоз продовольствия в крупные города, чем вызывают голод и недовольство населения», что «распропагандированные части Петроградского гарнизона отказались отправиться на передовые позиции».

Назывались имена главных виновных: член ЦК большевиков Зиновьев (Радомысльский), с замысловатым именем Овсей Гершон Аронов, и руководитель этой партии, германский агент Ульянов-Ленин Владимир Ильич.

Газеты обвинили Зиновьева в том, что он призывал к провокационной «мирной вооруженной» демонстрации. Вместе с демонстрантами на улицы Петрограда вышли и солдаты. Первый пулеметный полк притащил с собой на эту «мирную» демонстрацию даже... пулеметы.

И вот результат большевистских усилий – гора трупов.

* * *

Тягостные мысли Бунина прервал приход Юлия.

– Вот ты где спрятался! – живо проговорил он. – Я Евгения встретил. Сетует, что ты нынче не в духе.

– Ах, при чем мое настроение?! Что творится в России, уму непостижимо.

– Да, революционная вспышка страшна! Но она оживит нашу жизнь, привлечет к правлению страной новые, здоровые силы. Роду Романовых три столетия. Самодержавие изжило себя. А вот Учредительное собрание, которое под свои знамена соберет все самое прогрессивное, все самое...

– Соберет «прогрессивных тупиц» – так, кажется, Достоевский выражается.

– Ну, в любом государственном органе непременно какое-то число его членов окажется посредственными личностями. Вспомни английский парламент: там не только мудрецы. Но с каким блеском они решают государственные вопросы!

– Я никогда не был монархистом, но чем наше самодержавие хуже английского парламента? – сказал Бунин. – Ведь Николай давно ничего не решал сам. За него это делали Государственный совет, толпы приближенных, Горемыкин, Витте, Распутин, та же Государственная дума!

На садовой дорожке показалась Вера.

– Спорщики! – умиротворяюще сказала она. – Вы кричите так, что в доме стекла дрожат. Обед ждет вас, огурцы малосольные, селедка залом жирная, редиска с грядки.

3

Компания направилась к дому, уселась на веранде, где был накрыт стол. Служанка разливала по тарелкам борщ, Юлий – по рюмкам водку, а Вере – крымский портвейн. Усмехнулся:

– Верочка, твой муж стал консерватором бóльшим, чем английский король. Иван не признаёт ни Учредительного собрания, ни роли передовой интеллигенции. А я предлагаю: выпьем за русскую интеллигенцию, которая...

Бунин расхохотался:

– Братец, ты меня уморил: «передовая интеллигенция». Уже начиная с декабристов российская интеллигенция бездумно следовала за метаморфозами европейского социализма. Сна-

чала она восторгалась Фурье и Пруденом, затем бреднями Маркса. Она давно витает в облаках, о деревне судит по пьесам Чехова (который сам деревню не знал) да по собственным дачным впечатлениям. В чем призыв Маркса? «Презирать все духовное!» Суть мышления Маркса и западного человека сводится к одному: деньги, деньги, деньги! А российская психология иная, она более романтическая и куда более возвышенная. Нестыжатость в крови у русского человека. Вспомни Достоевского. Как верно он подметил: наш человек не может жить без цели, без духовных ориентиров. Скорей деревяшка прирастет к обручку инвалида, нежели у нас приживутся безумные идеи Фурье или Маркса! А если, не дай бог, приживутся, то разовьются в столь уродливую форму, что породивший их Запад ужаснется.

Юлий недовольно поморщился:

– Иван, согласишься: существует же эволюция общества. Иначе закоснело бы человечество в развитии, жили бы еще в каменном веке.

– Вот-вот! – обрадовался Бунин. – Именно эволюция, а не революция. Если наше капиталистическое общество естественно, без потрясений перейдет в коммунистическое – замечательно! Но ведь глупо и преступно силой ломать один строй и террором вводить другой. Зачем? Чтобы сделать удовольствие убийцам Савинкову и Чернову, шпионам Ленину и Зиновьеву? Им нравятся социализм, революционные потрясения, горы трупов, миллионы обездоленных... Уверен: их головы не в порядке. Им лечиться надо, а не Россию сотрясать.

– А нас спросили, хотим ли мы социализм? – вздохнула Вера. Повернувшись к прислуге, она вполголоса уронила: – Не забудь белого вина к рыбе!

Разлили «Пти-виолет» в бокалы на высоких витых ножках. Ели громадных жирных карпов. Иван Алексеевич любил рыбные блюда. Вера старалась угождать мужу.

Чай накрыли в саду. Все перешли в беседку. Самовар уютно гудел, свежий мед был на диво ароматен, а калачи не успели остыть. Все настраивало на мирный лад.

Бунин горячо заговорил:

– Вот Вера давеча в самую точку попала: а если мне чужды идеалы социализма, к которым призывают революционеры? Они твердят о революции «пролетарской». Да этих пролетариев в России от числа населения меньше пятнадцати процентов! Почему же именно ради них устраивать революции? На революцию смутьянов толкает не желание счастья и равноправия для каких-то неведомых «трудящихся», а собственные амбиции, желание одним махом подняться из грязи в князи, поселиться в царских дворцах. При самодержавии я, по крайней мере, жил счастливо и свободно. Никто не мешал мне писать, никто не «удушал» мое творчество.

Юлий, не ожидавший такой вспышки, миролюбиво произнес:

– Согласен, что самодержавие постоянно стремилось приспособиться к меняющейся обстановке. В октябре пятого года в России была дана свобода слова, по сути, бесцензурная печать. Но оставалось много нерешенных проблем – национальных, экономических...

Бунин вновь тяжело вздохнул, как вздыхает учитель, когда бестолковый ученик не понимает простых вещей:

– Я с этим не спорю, хотя умный и трудолюбивый мужик всегда пробьется в жизни. Я не говорю о Ломоносове, возьми того же Сытина. Из мальчика на побегушках стал одним из богатейших людей России, влиятельным издателем. Но давайте представим, что на всей земле установили такую власть, ради которой социалисты готовы уничтожить миллионы своих противников. И что, наступит всеобщее благоденствие?

Юлий неопределенно мотнул головой. Бунин продолжал:

– Ведь понадобятся те, кто должен распределять земные блага. И вот эти самые люди, хотим мы того или нет, себе станут оставлять больше и своим друзьям, близким, любовницам, приятелям, устраивать их на высокие должности, выделять из общественного достояния дома побогаче. И дело обернется еще хуже. Прежние правители имели опыт, а эти начнут на ходу

учиться да за власть еще будут цепляться. Раз есть борьба за удержание власти – значит, будут новые и новые жертвы.

Юлий упорствовал:

– Исходя из этого, борьба за свои права – бессмысленное дело?

– Вполне, если это терроризм, убийства, разгул толпы, жестокость. Бороться надо только с собственными недостатками да работать изо всех сил на том поприще, на какое тебя Бог наставил.

– Хуже, чем при царском деспотизме, не будет!

– Сомневаюсь! И повторю: либералы и радикалы жизнь больше по книжкам знают. Не обижайся, Юлий, ты тоже к ним относишься. Вон Мережковский как-то признался, что он толком не разбирается, чем пила от напильника отличается. А ведь тоже «учителем народа» себя считает. Жизнь, как природа, сама себя устраивает наилучшим образом. Горящие усадьбы в деревнях, жертвы в Питере – это все результаты либеральных бредней, насильственной ломки сложившегося веками. И дай Бог, чтобы Россия, расшатываемая «прогрессивными» деятелями, не залилась кровью выше церковных маковок.

Юлий хотел горячо возражать, но сдержал себя, нервно раскурил папиросу. Бунин нежно обнял брата за плечи, похлопал по спине:

– Вспомни, с какой остервенелостью на меня бросалась «передовая» критика! Она обвиняла меня в том, что я гляжу на жизнь слишком неоптимистично, будто изображаю народ исключительно черными красками. А ведь вся эта критика, как и большая часть российской интеллигенции, вскормлена и вспоена той самой литературой, которая уже лет сто позорит все классы. Ей, этой «обличительной» литературе, не по нраву попы-пьяницы, кулаки-мироеды, мещане с геранью на подоконниках, взяточники полицейские, помещики-кровопийцы, дворяне-узурпаторы. Зато они себя величают «глашатаями свободы», «борцами за народное счастье». Под народом они, конечно, разумеют горьковских босяков, челкашей различных мастей. Эти челкаши им ижицу еще пропишут!

Бунин поднялся, по-горьковски ссутулился, поплевал на пальцы и как бы погладил усы. Потом, высоко взмахнув руками, окая, прогудел в нос:

– «Чайки стонут перед бурей, – стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей... Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Буря! Скоро грянет буря!» Дождались бури. Сам Алексей Максимович спокойно отсидится в Сорренто, а под нож пойдут все эти психопатки и бездельники, восторженно ему рукоплескавшие. Сколько же дураков на свете! И резать их будут эти самые челкаши, которыми они восхищались.

Вера, молча подливая чай, произнесла:

– Ведь с какой страстной убежденностью, с какими жертвами все эти фигнеры, брешковские, савинковы стремились к своей цели! Вдруг они знают нечто, чего мы не понимаем?

– Сумасшедшие и преступники всегда действуют с полной убежденностью в своей правоте, – заключил извечный спор интеллигентов Иван Алексеевич. – Жизнь покажет, чего стоят их жертвы.

Жизнь действительно скоро показала.

Кто пьет пиво...

1

Двадцать третье июля, раннее утро. Сон одного из большевистских вождей – Троцкого – был нарушен голосами во дворе. Громадный сторожевой пес зашелся в злобном лае.

Лев Давидович выскочил из-под одеяла в длиннющей в цветочек ночной рубаше, торопливо засеменял босыми ногами к окошку. В этот момент дверь без стука распахнулась и влетела задыхающаяся служанка:

– Там... с ружьями...

Троцкий осторожно выглянул, бледнея от страха. Он понял: бежать нельзя, дом оцеплен. Хрипло выдавил:

– Открой.

И тут же заметался по комнате, со стоном приговаривая: «Все ли сжег, не забыл ли что?..» Газеты постоянно указывали на большевиков как на германских шпионов, приводили соответствующие документы и доказательства. Последние дни Троцкий и его «партайгеноссе» жили ожиданием ареста. Уничтожили весь компромат. Однако сейчас Троцкий не мог совладать с собой: дрожали сухонькие ручки, пересохло в горле. По деревянной лестнице дробно застукали сапоги.

Начался обыск.

Начальник петроградской контрразведки полковник Никитин, играя носками до зеркального блеска начищенных сапог, развалился в скрипучем кресле. Серо-стальные щели глаз внимательно следили за Троцким.

– Что вы, Лев Давидович, дрожите, яко лист осиновый?

Троцкий нервно сглотнул, большой кадык дернулся на тощей жилистой шее. Он хотел что-то сказать, но издал лишь неопределенный шипящий звук. Никитин иронично продолжал:

– Документы, думаете, все сожгли? Разграбили контрразведку – и концы в воду? Обыск, дескать, пустая формальность? Ан нет! Есть у нас кое-что такое, за что вы и ваши большевистские дружки будете вздернуты на виселицу. За шпионаж в пользу врага.

Троцкий, обмирая от ужаса, фистулой взвизгнул:

– Я честный человек!

Последнее искренне рассмешило полковника, и он весело расхохотался:

– Ха-ха, уморил! Ну хватит, одевайтесь, честный Иудушка, делающий гешефты за счет России. – И повернулся к охране: – В тюрьму его!

Лев Давидович был доставлен в знаменитые «Кресты», а Никитин принялся реализовывать двадцать семь оставшихся ордеров на аресты большевистской верхушки.

* * *

Действительно, помещение контрразведки было разграблено, многие документы унесены или уничтожены. Это случилось после того, как были возбуждены дела по обвинению в шпионаже целого круга лиц – Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Парвуса и других. Из-за утечки секретной информации, последовавшей после ее передачи Временному правительству, подозреваемые сумели разгромить архив, многие обвиняемые скрылись. Подозревали в предательстве самого Керенского, земляка Ленина.

Только после этого чины контрразведки спохватились: весьма забавно, но верхний этаж над их штабом занимали большевики! После учиненного погрома этаж враз опустел – больше его обитателей никто не видел.

Нагрянули на квартиру Ленина. Как ожидалось, его след уже простыл. Дома находилась Крупская. Выпучив от страха и базедовой болезни глаза, она взволнованно спросила:

– Мне собираться?

– Пока нет, – ответил Никитин. – Ордер выписали только на вашего сожителя Ульянова.

Крупская моментально воскресла. Теперь она держалась храбро. В продолжение всего обыска оглашала окрестности криками:

– Позор! Это вам не старый режим, вы ответите... Отрыжка самодержавия!

Удалось арестовать лишь Уншлихта, Козловского и еще кое-кого помельче рангом. Арестованная Суменсон тут же полностью признала себя виновной в шпионаже.

2

Спустя два десятилетия Никитин выпустит в Париже книгу под названием весьма точным – «Роковые годы». Он изложил свои обвинения большевикам в пору революции и протянул их дальше – по хронологии – в тридцатые годы.

Вот что он писал:

«Непременное начало всех начал их системы – Че-ка советская, Че-ка, непосредственно и прежде всего вытекающая из всего учения Ленина. Она необходима, чтобы давить индивидуальные начала. Отражая его характер, отвечая нетерпимости Ленина к чужому мнению, вся „заговорщицкая“ его идеология была проникнута недоверием к массам, боязнью, как бы народ, предоставленный самому себе на пути самостоятельности, не ускользнул из-под его влияния и его не опрокинул. За народом следует следить, шпионить; его надлежит взять в тиски, чтобы бить копром, принудить идти только по тому направлению, которое выбрал для всех один он, один Ленин. Сколько людей погибнет – неважно: Ленин злобен, нравственно слеп – для Че-ка все приемы хороши. Чем больше народ, тем больше Че-ка; чем ярче самостоятельность – тем глубже застенки, тоньше пытки. Ленинская идеология – ленинская Че-ка. Она – памятник его нерукотворный.

...Ленин умер. Принявшие за ним власть спешат возвести в догму его тезисы – „высказывания“, как их называет Крупская. Ленин, как догма, необходим всем: Сталину, чтобы сбивать Троцкого; Троцкому, чтобы обличать Сталина; тройкам, пятеркам, коммунистическим главоверхам.

В славе, создаваемой Ленину, они видят историческое оправдание своих собственных преступлений. Она же нужна им, чтобы удержаться у власти, так как позволяет в критических положениях ссылаться на непогрешимые высказывания самого Ленина как на высший закон страны. Для этого приходится внушать народу слепую веру в Ленина, поддерживать гипноз массы именем великого вождя, который устроил революцию и никогда не ошибался.

Отсюда столица его имени, институты Ленина, библиотеки, заводы, ордена, ледоколы, портреты, дни, годовщины, „уголки Ленина“, языческий мавзолей, паломничество к мощам, изъятые из глубокого прошлого, бесконечные толпы, суеверно настроенные кругом гроба».

Но как бывший контрразведчик, еще располагавший важными документами преступлений большевистской головки, главное внимание Никитин уделяет их уголовному прошлому, махинациям, благодаря которым они в октябре семнадцатого года дорвались до власти: «Деньгами большевистского центра ведали только Ленин лично и его жена Крупская. Даже секретарь редакции Зиновьев не допускался к кассе... Члены ЦК получали жалованье от Ленина. Неудобные его лишались».

...Сила денег! Сила убеждений!

* * *

Деньги, добытые, по словам Плеханова, «воровским способом», поставили Ленина в исключительное по своему значению исходное положение. Он и оплачивал печатные издания и штат партийных работников; деньги делали его хозяином организации за границей и в России. Деньги – реальная сила, путь к власти.

В том же Париже вышел солидно документированный труд С. Мельгунова под выразительным заголовком «Золотой ключ большевиков». Автор на основании бесспорных фактов и документов рассказал о *«невероятной сумме денег»*, полученной тайно из германских банков Лениным. Именно эти деньги стали тем ключом, которым открывается *«тайна необычайно быстрого успеха ленинской пропаганды»*.

Впрочем, к закулисным делишкам уголовников, рядившихся в тогу борцов за «счастье рабочих и крестьян», мы еще вернемся.

3

В определенной среде – между ворами, террористами и политическими смутьянами – заключение в тюрьму и каторжная тачка всегда считались делом почетным. Пока Троцкий почитывал в камере книжки Маркса, Ницше и своего близкого друга Ленина, состоялся VI съезд РСДРП(б) (конец июля – начало августа 1917 года). Заочно Троцкий был избран одним из почетных председателей съезда, а затем членом ЦК. При выборах он наряду с Каменевым получил третий голос. Первыми были Ленин и Зиновьев.

Но вскоре Троцкому стало не до книг. Тревога поселилась в душе того, кто вынашивал шальную мысль о том, как занять если и не осиротевший трон российского императора, то все же стать диктатором громадного государства. А почему бы нет?

Острый ум сынка херсонского колониста сумел предугадать особенности развития российской истории на ближайшие десятилетия: когда из грязи...

От вновь прибывших в «Кресты», от родственников и партийных товарищей, ежедневно посещавших заключенных, да и от самой администрации тюрьмы стало известно: на Петроград движется войско Лавра Корнилова.

– Ведь если этот сатрап займет столицу, он нас всех перережет! – нервно дергал головой Троцкий, прогуливаясь по тюремному дворику. Его внимательно слушали товарищи – по партии и заключению. – Почему Керенский держит нас в «Крестах»? Как он смеет?

– Позор! – несло из толпы.

Надзиратели, после Февральской революции чувствовавшие себя неуверенно, митингующих не разгоняли: «Вдруг эта шпана завтра и впрямь придет к власти?»

* * *

Троцкий обладал, без сомнения, митинговым даром. Он тщательно изучал книги по ораторскому искусству. Еще с детского возраста, крутясь перед зеркалом, вырабатывал манеру держаться, становясь в различные актерские позы. Особенно ему почему-то нравился жест: чуть присев, опустив руки, он вдруг резко выпрямлялся и скидывал обе руки вверх. И еще – он первым (второй – Сталин) начал о себе говорить в третьем лице.

Вот и теперь в прогулочном дворике «Крестов», взмахнув, словно крыльями, руками, Лев Давидович крикнул резким, каркающим голосом:

– Помните, что говорит товарищ Троцкий! Кровавая чистка предстоит Петрограду! Каждый из нас, идейных борцов, может пасть жертвой царских опричников. Вы согласны со мной, товарищ Раскольников?

Стоявший рядом статный человек с красивым славянским лицом согласно кивнул:

– Генералы Лужицкий и Крымов, которые движутся на столицу, вполне возможно, устроят самосуд...

– Не о самосуде речь! – взвизгнул Троцкий. – Всякая революция в целом – это тоже самосуд. Но это самосуд справедливый, ибо он над буржуазным меньшинством ради счастья пролетарского большинства!

– Согласен с вами, товарищ Троцкий, – вставил слово Раскольников. – Руководители соперничающих партий будут рады убрать нас чужими руками.

Лев Давидович, подхватив под локоть Раскольникова, закружил с ним по дворику:

– Какие трусы, ах какие подлые трусы засели во Временном правительстве! Они обязаны объявить Корнилова и его свору вне закона. Смерть царскому опричнику!

– Наши агитаторы действуют в тылу армии, призывают бойкотировать приказы...

– Да, Федор Федорович, я получил сегодня информацию. Железнодорожники станции Луга, куда прибыл Крымов, усердно доказывали, что якобы нет паровозов.

– Паровозы есть, только наши люди выводят их из строя, Лев Давидович! Конечно, этим бездейственным рвачам приходится много платить...

– Прекрасно, деньги есть, пусть Ильич гелд не жалеет! И еще, необходимо портить пути, разбирать рельсы. Казаков нельзя допустить в Петроград, иначе нам гибель!..

4

В вышедшей в Берлине в 1933 году книге «Октябрьская революция» Троцкий признался:

«Железнодорожники станции Луга, куда прибыл Крымов, упорно отказывались двигать воинские поезда, ссылаясь на отсутствие паровозов. Казачьи эшелоны оказались сейчас же окружены вооруженными солдатами из состава двадцатитысячного Лужского гарнизона. Военного столкновения не было, но было нечто более опасное: соприкосновение, общение, взаимопроникновение. Лужский Совет успел отпечатать правительственное объявление об увольнении Корнилова, и этот документ широко распространялся теперь по эшелонам. Офицеры уговаривали казаков не верить агитаторам. Но самая необходимость уговаривать была зловещим предзнаменованием.

По получении приказа Корнилова двигаться вперед Крымов под штыками потребовал, чтобы паровозы были готовы через полчаса. Угроза как будто подействовала: паровозы, хотя и с новыми проволочками, были поданы; но двигаться все-таки нельзя было, ибо путь впереди был испорчен и загроможден на добрые сутки. Спасаясь от разлагающей пропаганды, Крымов отвел 28-го вечером свои войска на несколько верст от Луги. Но агитаторы сейчас же проникли и в деревни: это были солдаты, рабочие, железнодорожники, – от них спасения не было, они проникали всюду. Казаки стали даже собираться на митинги. Штурмуемый пропагандой и проклиная свою беспомощность, Крымов тщетно дожидался Багратиона: железнодорожники задерживали эшелоны „Дикой дивизии“, которым тоже предстояло в ближайшие часы подвергнуться моральной атаке».

Германские деньги весьмагодились. И все же эта разлагающая сила, направляемая соратниками Троцкого, разбилась бы о твердость казаков, если бы... Если бы 29 августа генерал Крымов не получил телеграмму лживого содержания: «В Петрограде полное спокойствие. Никаких выступлений не ожидается. Надобности в вашем корпусе никакой. Керенский».

Это был приказ. И приказ преступный. Как и последовавшее позже запрещение: «Троцкого ни в коем случае не арестовывать». Но вернемся к августовским событиям.

5

Как убийцы превозносятся своей наглостью и жестокостью, так лишенный нравственных оснований Троцкий спустя годы похвалялся: железнодорожники-де плясали под большевистскую дудку, загоняли эшелоны с казаками черт-те знает куда! «Полки попадали не в свои дивизии, артиллерии загонялись в тупики, штабы теряли связь со своими частями. На всех крупных станциях были свои советы, железнодорожные и военные комитеты. Телеграфисты держали их в курсе всех событий, всех передвижений, всех изменений. Те же телеграфисты задерживали приказы Корнилова. Сведения, неблагоприятные для корниловцев, немедленно размножались, передавались, расклеивались. Машинист, стрелочник, смазчик становились агитаторами... Части армии Крымова таким образом были разметаны по станциям, разъездам и тупикам восьми железных дорог».

«Заговорщики» – по логике Троцкого и его компании – это регулярные войска Российской империи.

* * *

Россия, все убыстряя бег, стремилась в пропасть. Улюлюкая, представители различных партий безжалостно и безрассудно подхлестывали ее.

Еще важный документ – упоминавшееся исследование Мельгунова «Золотой немецкий ключ большевиков». Известный историк писал: «Те, кому в июле предъявлено было обвинение в „измене“, в ноябре оказались у власти...» Почти через год, в октябре 1918 года, в Америке появился сборник документов (в количестве 70), разоблачавших всю подноготную «германо-большевистского заговора». Документы устанавливали очевидный факт неоспоримого получения денег большевиками.

Среди прочих имелось совершенно секретное сообщение представителя Рейхсбанка Германии Комиссариату иностранных дел в Петербурге о переводе в январе 1918 года 50 миллионов рублей в распоряжение Совета Народных Комиссаров для покрытия расходов по содержанию Красной гвардии и агентов-provокаторов, то есть свидетельство, что и после захвата власти большевики продолжали получать деньги от немцев.

* * *

Как бы то ни было, а летом семнадцатого года Троцкому удалось избежать виселицы. Обрюзгший, ожиревший от тюремного безделья, Лев Давидович был освобожден Керенским 2 сентября.

Шаркая носками вовнутрь ножками по булыжной мостовой, Троцкий сразу же отправился в большевистский штаб. Его революционное сердце было преисполнено решимости продолжать начатое дело.

– Крушить Россию! Давить костлявой рукой голода русское быдло...

6

Почти ежедневно из неудобных помещений «Крестов» большевики извлекали своих сообщников. Не бесплатно, конечно. Только официальный залог составлял громадные суммы. Так, сам Ильич распорядился выложить за единомышленника из Кронштадта Федю Раскольника:

– Три тысячи! Такой большевик сейчас вот как нужен...

И вождь мирового пролетариата был прав. Изведав смолоду тюремной баланды, он отлично знал, что свобода дороже любых денег. Да и теперь, совсем недавно, он сам чудом избежал ареста. (Спасибо старому другу семьи Ульяновых по Симбирску Саше Керенскому! Ведь Ильич закончил гимназию, директором которой был Керенский-старший, а инспектировал эту гимназию отец Ильича. Эх, малина!)

С некоторых пор появился, кроме субсидий из Германии, еще один хорошо испытанный способ – экспроприация, а попросту – разбой.

Вот что писала газета А. С. Суворина «Новое время»:

«РАЗБОЙНЫЙ ПЕТРОГРАД

Грабежи и убийства идут вовсю. Никакой охраны нет.

Граждане брошены на произвол, и люди в солдатской форме чувствуют себя в столице республики, как в глухих брянских лесах. Нападают на прохожих, раздевают их, грабят, а то и просто всаживают нож в спину. Это проделывают в боковых полутемных улицах и на окраинах. Но этого мало. Вчера на глазах прохожих, в десятом часу вечера, когда на Невском тьма народу, группа вооруженных солдат и матросов атаковала какого-то пожилого мужчину. Потребовали денег. Мужчина пробовал отказать. Тогда его повалили на панель, избили, сорвали часы, кольца, вынули бумажник, снова избили и оставили в бессознательном состоянии. Никто не посмел вмешаться».

«Газета-копейка» сообщила: «В столице ежедневно совершается свыше четырех сотен налетов на банки, кассиров, квартиры богатых обывателей».

Бунин сокрушенно качал головой:

– Что творит преступное правительство! Ведь Керенский передал большевикам сорок тысяч ружей с припасами! Передал тайком, но журналисты узнали об этом, пишут в газетах. Россия, бедная Россия! Тебя толкают в пропасть...

Бунин, находясь в деревенской глухомани, с ужасом читал в газетах:

«Все усилия большевиков направлены к пролитию крови, к массовому разгулу беспорядков и грабежей. Партия Ленина „якобы вооружает рабочих в целях самозащиты“. Ведь по Петрограду ходят слухи, что Временное правительство планирует сдать Петроград немцам.

Правительству приходится давать официальное опровержение этой инсинуации. Убегать из города никто не собирается. Большевики уличены общественностью в распространении клеветы на правительство. Нет сомнения и в том, что слух о своем возможном выступлении они распространили по городу умышленно, чтобы усилить хаос и панику. На большее у них силенок не хватит. Большевизм пока в общественном сознании ассоциируется с анархией.

Появляются достоверные сведения о прибытии в Петроград множества воровских шаяк со всей России. Темные личности уже переполняют чайные и притоны».

Когда Ленин умрет, воровская тюрьма на Таганке в числе первых соберет деньги на венок защитнику всех обездоленных. Что-что, а чувство благодарности в уголовной среде в те времена свято чтилось.

7

Все военные годы Россия жила в режиме строгого алкогольного ограничения. Все склады спиртного надежно охранялись. И до августа семнадцатого года не было случаев разбойного нападения на эти склады.

Но вот, словно по приказу, в местах, где дислоцировались войска, начали громить винные лавки, склады со спиртом и даже винокуренные заводы.

«Новое время» с тревогой извещало:

«В три часа ночи первого октября три эскадрона Н-ского полка по тревоге вызваны в Минск и оттуда отправлены в Смоленск и во Ржев. Причины тревоги – разгром солдатами пехотных частей винокуренных заводов и складов спирта. Эскадрон прибыл во Ржев третьего октября.

В городе раздаются выстрелы и пахнет спиртом. Всюду валяются разбитые бутылки разных величин. Первый усмирительный отряд не выдержал искуса и перепился. Держались сначала только офицеры, но пьяные солдаты заставляли их пить под угрозой, что иначе всех пережгут. Заботило всех, выдержат ли наши драгуны. Приказали четвертого октября в шесть часов оцепить полуэскадрону винокуренный завод и склад. Прошли томительные сутки, и наряд с честью исполнил свой долг. Во Ржеве предстоит разоружить 8000 перепившихся пехотных солдат».

Пьяное море захлестнуло Россию... В нем утонула главная опора государства – армия. Отовсюду шли известия, что рядовой состав спивается, слабеет дисциплина, авторитет офицеров падает. Старая истина: *развали армию – рухнет любое государство.*

Целое море спирта было вылито в глотки солдат и матросов Петроградского гарнизона! Близился штурм Зимнего дворца...

«Много пить – добру не быть» – это, конечно, так. Но не перехлестнись большевики с немцами – не быть ни этому пьянству, ни разложению армии, ни выстрелу «Авроры»...

Прощальный пир

1

Поднимая тучи пыли, гремя расшатанными в осях колесами, по дороге неслась, словно спешила в преисподнюю, телега. Мужик, сидевший в ней на охапке сена, подергивал вожжами и, широко разевая щербатый рот, пьяным голосом орал какую-то песню.

Бунин подхватил за плечи жену, отпрянул на обочину, покачал головой:

– Ты, Вера, думаешь, у него есть какое-то спешное дело, что он сейчас загоняет последнюю лошаденку? Просто напился и теперь куражится. А о том, что околеет кобыла или себе сломает шею, не думает. Ведь у него даже вожжи веревочные – признак деревенской бедности. Зато пролетел мимо бар, обдал их пылью – и рад, гуляка хренов. Вот что вино да глупость делают. Жаль только лошадь. Он ее, подлец, на отделку замучает.

Сорвав травинку, Иван Алексеевич задумчиво помял ее в руке, поднес к лицу, глубоко вдохнул свежий запах зелени. Потом удрученно проговорил:

– А чем мы, интеллигенция, лучше этого мужика? Начиная с декабристов, мьемся, ищем какой-то неизвестной «свободы», ломаем устоявшееся. А теперь вот воспеваем «гордого сокола» и «буревестника, черной молнии подобного», призываем, поднимаем «больные вопросы», мечтаем о «светозарном будущем», о «свободе», а не делаем единственно нужного на земле дела – толком не работаем, каждый на своем месте. Все ищем каких-то великих дел, каких никогда не бывает. Страшно сказать, но героем мечтаний, чуть не образцом «нового» человека стал бездомный воришка Чел-каш. И бесконечные призывы к «свободе»... Всякая шпана лезет в начальство, претендует на роль «учителей народа». Незадолго до последнего отъезда в Петроград, в начале двадцатых чисел марта, случилось мне быть на Казанском вокзале в Москве. Денек был веселый, солнечный. Я пришел встретить Юлия, возвращавшегося из Рязани. С удивлением замечаю: повсюду толпы народа, всеобщее оживление. Платформы до отказа забиты. Солидные мужчины и дамы на крыши вагонов карабкаются – смешно вспоминать! Подножки и буфера облепили, как муравьи, висят. Даже глазам не верю. Спрашиваю: «Что такое? По какому поводу?» Какой-то рабочий в картузе и без передних зубов возмущенно шепелявит: «Как, господин, вы не знаете? Из ссылки возвращается Катерина Константиновна». – «Катерина? Кто такая?» Тот буркалы выпучил и раздулся от негодования: «Так вы газет не читаете? Бабушка русской революции Брешко-Брешковская возвращается». – «А вам какая, простите, радость?» Картуз совсем зашелся: «Как – какая?! Она за народное счастье борется, по тюрьмам и ссылкам за нас, простых людей, страдала! А вы, господин хороший, „какая радость“? Несознательность весьма удивительная».

Грянул духовой оркестр. Играет «Марсельезу». К перрону состав подходит. Открывается дверь спального вагона. В проеме показывается толстая старуха с круглым лицом. Сама в черном драповом пальто с широким бобровым воротником шалью и круглой, почти под казачью папаху, шапке – и тоже из бобра. Под шапкой платок, в зубах папироса. В руках белый платочек – машет им. Фигура самая карикатурная! Сплюнула папиросу и весело крикнула: «Здравствуйте!»

Господи, что тут началось. Оркестр гремит, толпа ревет «ура!», все толкаются, бабка из вагона выйти робеет – вмиг раздавят!

Кое-как успокоились, начались бесконечные славословия. Кишкин от московского комиссариата приветствует охапкой цветов и восторженной речью, от социалистов-революционеров Минор что-то гассирует, ни черта никто не поймет. Потом бабку усадили в мягкое кресло, подняли на плечи, едва было не вывалив на рельсы, потащили к автомобилю. Бабка

колышется над толпой и расшвыривает налево-направо гвоздики – «на память». Тебе, Вера, надо было видеть счастье на физиономиях тех, кому доставался бабкин дар: цветы целовали, на лицах слезы умиления...

Наконец Катерина Константиновна уселась в автомобиль. Говорили, что повезли прямо на Моховую, в университет – там эсеры организовали собрание «За свободную Россию». Бедная, бедная Русь: психические больные лезут в политику.

– Ян, ты считаешь, народу не нужна свобода?

Ян – именно так Вера звала мужа. Тот внимательно поглядел на жену и грустно улыбнулся:

– На ретрограда я, кажется, никак не похож? Но будем откровенны: какая свобода нужна российскому мужику? Свобода слова, бесцензурная печать, Государственная дума? Его волнуют речи Гучкова или Керенского? Да плевал он на такие свободы. Мужику только одно нужно – земля. А кто в Зимнем будет править, ему безразлично. Лишь бы оставили его в покое, не мешали хлеб растить.

Бунин докурил папиросу, бросил окурочек в придорожную пыль.

– Государственная дума мужику – как мертвому кадило. А вот всяким Керенским и революционерам мужик нужен – чтобы кормиться.

– Но, милый, – горячилась Вера, – Дума печется о крестьянах, решает вопросы, чтобы улучшить...

– Улучшить? Весьма сомневаюсь. Помнишь поговорку: «Всякая рука себе гребет». В Питере себе гребут.

Бунин помолчал, потом неожиданно привлек жену и нежно поцеловал в затылок.

– Эх, Вера, плохо на Руси, плохо и нам с тобой. Кругом кровь льется, в любой день и нас могут сжечь, унижить, убить. Вот уже лет двадцать Россия мне напоминает этого пьяного мужика, с дикарским ухарством стремящегося сломать себе шею. Терроризм, убийства сановников, заговоры. Какие-то группировки под видом «борьбы за народное счастье» разлагают общество. А демонстрации, забастовки, расстрелы? Ведь все эти преступления подталкивают Русь к пропасти.

– Может, все наладится? – с надеждой спросила Вера. – Вот закончится война, соберется Учредительное собрание...

Бунин перебил:

– Да разве Учредительное собрание с его говорильней изменит людей? Останутся такими же – лживыми и корыстными. Нет, не скоро мы образуемся.

Помолчав, вздохнул:

– Помнишь в «Войне и мире»? В Бородинском сражении бойцы с той и другой стороны, сражавшиеся много часов без пищи и отдыха, измученные и обезумевшие от ужаса, от чужой крови, начали задумываться: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитым?» Но какая-то непонятная, таинственная сила продолжала толкать их на убийство, и они в порохе, в крови, валясь от усталости, продолжали свершать страшное дело. Вот и сейчас подобное безумие. Длится война с Германией, разгорается бойня внутри государства. Все знают, что бессмысленно истреблять друг друга, но с бесовской одержимостью не могут остановиться.

...Думалось: хуже уже не будет. Хуже просто не бывает.

Ан нет, жизнь показала – бывает!

2

Наступивший досуг душу не согревал. Было ощущение, словно висишь каким-то неведомым образом над темной пропастью и не знаешь, то ли выберешься к прежней, теперь уже казавшейся сказочно счастливой, жизни, то ли в следующее мгновение полетишь в эту самую

пропасть и не соберешь костей. И не только сам, но все близкие: и Вера, и Юлий, и служанка, и культура, и вся Россия – в пропасть, в пропасть.

Бунин, тяжело вздохнув, изо дня в день садился за простой дощатый стол, раскрывал свой дневник и записывал безрадостные новости:

«Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили босого по битому стеклу».

«Холодно, тучи, северо-западный ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику».

«Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!»

«Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость!»

«Одна из самых вредных фигур – Керенский. А его произвели в герои».

Прервал писание, тяжело задумался: «Как удивительно, все краски мира поблекли. Мир и впрямь сделался каким-то грязно-серым. Наверное, самоубийцы, прежде чем наложить на себя руки, теряют ощущение красочности». Бунин зябко передернул плечами, по телу словно ток пробежал. Почистил перо, продолжил:

«На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер? Опять наблюдал сад. Он при луне тесно и фантастично сдвигается. Сумрак аллеи, почти вся земля в черных тенях – и полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь)».

В дверь осторожно постучали. Бунин недовольно поморщился: ему хотелось побыть одному. В комнату заглянула Вера. В руках она держала какую-то книжицу с ярко-красной обложкой.

– Ян, можно к тебе? Сегодня купила в Ельце, на станции. Зинаида Гиппиус составила сборничек. Вот, называется «Восемьдесят восемь стихотворений». Тут и твоих три стиха.

– Не может быть! – иронично произнес Бунин. – Удостоила высокой чести. Не спрашивая разрешения и не заплатив гонорара. И что за компания? Анна Ахматова, Михаил Кузмин – что ж, талантливы. О Кузмине, может быть, знаешь, Гумилев ярко выразился: его стих льется как струя густого и сладкого меда, а звучит утонченно и странно.

– А сколько стихотворений самого Гумилева в сборнике?

Бунин пробежал глазами оглавление и раскатисто расхохотался:

– Ну конечно же ни одного!

– Почему так? Ведь он поэт талантливый.

– Для Зинаиды Николаевны это не имеет никакого значения. Ее самолюбие Гумилев ранил неоднократно, печатно удостоверяя публику, что талант Гиппиус давно застыл в своем развитии, а стихи лишены красок и подвижного ритма, напоминают «больную раковину». Такое поэтесса простить не может. Впрочем, послушай, вот, наугад, ее стих на восемнадцатой странице:

Кричу – и крик звериный...
Суди меня Господь!
Меж зубьями машины
Моя скрежещет плоть.

Свое – стерплю в гордыне...
Но – все? Но если все?
Терпеть, что все в машине?
В зубчатом колесе?

– Набор слов, – сказала Вера.

Бунин согласно кивнул:

– Какая-то мертвяжина, и все это, как гвозди в дерево, вбито в поэтический размер. Претензий гораздо больше, чем дарования.

... Не знал, не ведал, что пройдет совсем немного времени, и его свяжут с Гиппиус общие беды – чужбина, нужда, тоска по России, по рухнувшей счастливой жизни. Но грядут времена, когда их дороги разойдутся – навсегда.

* * *

Спустя несколько дней пожаловал неожиданный визитер. Бунин, удобно развалившись на скамеечке в саду под яблоней, с наслаждением раскуривал папиросу, когда на дорожке появился некто Барченко – человек с умными глазами и приветливой улыбкой, давний знакомец писателя.

– Мимо ехал, к себе в Елец направляюсь, – объяснил Барченко, – разве мог не увидеть вас, Иван Алексеевич?

– Милости просим! – ответно улыбнулся Бунин. – Обедать приглашаю.

– Не откажусь! Живот крепче – на душе легче. Хотя... дела такие, что впору аппетита лишиться. Слыхали новость? Корнилов восстал. Посягнул на законное Временное правительство.

– Ну и что? – Бунин поднял бровь. – Чем боевой генерал хуже гражданских ничтожеств? Захватили, сукины дети, власть, а как управлять громадным государством – умишка не хватает. Меня поражает жажда бездарей быть выше других, руководить народами.

– Как же так? – изумился Барченко. – Ведь в нашем правительстве весьма достойные люди...

– Профессора и присяжные поверенные? Вот и занимались бы своим делом, а не им править приспичило! Командовать миллионами людей. Того же Керенского, поговаривают, жена дома колотит, зато на людях гоголем ходит, хорохорится. – Бунин спохватился: – Простите, Василий Ксенофонович, я запямятовал, что вы тоже присяжный поверенный. И говорят, весьма толковый. Оставим спор, пошли к столу.

... Бунин уговорил гостя остаться ночевать. Вечерний чай пили в беседке. Барченко оживленно обсуждал с Верой Николаевной и Евгением политические новости. На черном небе в потоках воздуха мерцали громадные звезды. В похолодевшем саду сладко пахло увядающими на клумбах цветами.

Бунин с восторгом произнес:

– Какой прекрасный вечер! Луна уже высоко-быстро несется среди плотных, с нечастыми просветами облаков, похожих на белые горы. А вот эти деревья, возле дома и сада? Как они необыкновенны, точно бёклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Евгений что-то спросил Бунина, но тот не ответил, даже, пожалуй, не слышал, глубоко погрузившись в свои мысли. Потом он достал из кармана карандаш и блокнотик, что-то быстро записал. Лишь после этого чуть смущенно улыбнулся:

– Простите, я немного отвлекся. Хотите послушать, что сейчас сочинил? – Кончиками пальцев держа блокнотик, он прочитал:

Как много звезд на тусклой синеве!
Весь небосклон в их траурном уборе.
Степь выжжена. Густая пыль в траве.
Чернеет сад. За ним – обрывы, море.
Оно молчит. Весь мир молчит – затем,

Что в мире Бог, а Бог от века нем.

– Как прекрасно! – восхитился Барченко, а Вера подошла к мужу и поцеловала его в макушку. Тот, склонясь над блокнотиком, своим обычным размашистым и твердым почерком поставил: «29.VIII.17».

3

Деревенская глушь больше не успокаивала. Появилось много пришлых, в основном беглых солдат. Крестьяне, которых еще вчера Иван Алексеевич считал чуть ли не друзьями, которым много раз помогал и советами, и деньгами, делались все сумрачней, при случайных встречах отводили глаза, отвечали односложно, торопились отойти в сторону.

Возле лавки мужики обсуждали новость, толковали про «Архаломеевскую ночь»... Будет, дескать, из Питера «тили-грамма», по приказу, в ней заключенному, надо будет перебить всех «буржуев».

– Всех под корень, и семя их – туда же! А ежели кто из мужиков станет уклоняться, то и с ним поступить, как с буржуем, – громко втолковывал солдат с желтыми съеденными зубами и рябым вороватым лицом кучке мужиков, его обступивших и согласно кивавших головами.

Бунин подошел к толпе и, жестко взглянув в глаза солдату, насмешливо спросил:

– Ну, служивый, откуда у тебя новости про «Архаломеевскую ночь»?

– Это, барин, не ваше дело. Срамно лезть в чужую беседу! – нагло улыбнувшись, бойко проговорил солдат.

Мужики хмуро молчали.

Кровь прихлынула к голове, от ярости потемнело в глазах. Бунин сделал шаг вперед, взмахнул тростью, чтобы обрушить ее на голову этого хама, от которого на расстоянии распространялся гнусный запах перегара, давно не мытого тела и не стиранной одежды.

Солдат с неожиданной резвостью отскочил назад, склонился к голенищу сапога, изготовляясь достать нож, и злобно ощерился:

– Не балуй, барин.

Бунин, играя желваками скул, процедил:

– Подлец! – повернулся и направился к дому, вполне ожидая, что солдат догонит его и всадит нож меж лопаток.

Тот, однако, не пошел за ним, остался на месте. Он что-то быстро и убедительно говорил крестьянам. Бунин подумал: «Как бы, сукин сын, дом наш не сжег!»

* * *

Вернувшись к себе, раскрыл газеты. И снова болью, кровной обидой, бессильной яростью наполнилась душа. Московский большевик Коган организовал в Егорьевске Рязанской губернии бунт. Он арестовал городского голову, а пьяные солдаты и толпа убили и голову, и его помощника заодно.

– За что? – вопрошал он Веру Николаевну. – Только за то, что честно трудился на пользу города. Нарочно сеют страх, чтобы легче власть захватить.

Из газет было ясно, что фронт разложен, дорога немцам открывается в центр России – на Москву и Петроград.

Вспомнилось, как утром встретил знакомого мужика из соседней деревушки Ждановки. Звали его Сергей Климов.

– Что делать будем, если немцы Питер займут? – спросил Бунин.

Тот почесал в потылице, помумлил губами и вынес решительный приговор:

– Да что он нам? Да мать с ним, с Петроградом. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно *разнообразие*.

Бунин развеселился. (Уже в Париже, работая над «Окаянными днями», он припомнил эту забавную реплику.)

* * *

Тем временем осень незаметно мешалась с летом, все более красила в золотые тона природу, желтизной осветила ветки орешника, окропила багряным цветом кокетливые рябинки. Осины хоть и старались сохранить свежесть листьев, но все более обнажали ветви. И лишь дубы, последними давшие листву, малость светло-коричнево побронзовели, зато уже просыпали на землю зрелые тяжелые желуди.

И вдруг где-то за лощиной – смелые, четкие удары топора. На просеке видна лошадь. Мужики теперь открыто и нагло валят чужой лес. Сердце Бунина болезненно сжалось.

Дома записал в дневнике: «Думал о своей „Деревне“. Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку – верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать».

4

Лето миновало. Утра становились с крепкой изморозью. Погода держалась ясная, солнечная. Ни днем ни ночью небо не замутнялось облаками. Настало время успокоения, наслаждения природой, одиночеством.

Бунина вновь обуяла страсть творчества. Внешним поводом стал сущий пустяк. Когда-то во время пребывания в Каире ему попался блокнот: обложка мягкой темно-коричневой кожи, отделанная затейливым восточным орнаментом.

Роясь в книжном шкафу, во втором ряду, за книгами, он теперь вдруг нашел блокнот. Почему-то захотелось заполнить страницы стихами.

Накинув на плечи летнее гороховое пальто, Бунин легко и широко шагал по неочищенным, заросшим дорожкам старого сада. Он направлялся к дальнему лесу, и в каждом движении его заметна была та особенная сила и энергия, которая у него появлялась каждый раз, когда он чувствовал творческий подъем.

Возле дороги стояла чья-то телега, перепачканная навозом и без передних колес. Возле нее прохаживался солдат Федька Кузнецов, зачем-то постукивая обушком топорика по осям.

«Колеса небось спер!» – подумал Бунин.

Федькина одежда состояла из серых посконных порток с грубыми заплатами на коленях и на заднице, выцветшей салатовой гимнастерки и неожиданно ладных, почти новых хромовых сапог.

Федька нагло уперся в Бунина водянистыми выпуклыми глазами и, нарочито поигрывая топором, низко склонил белесую голову:

– Не будет ли от вашей милости нам закурить?

– Кури! – Бунин протянул портсигар.

Федька перехватил топор в левую руку и дрожащие от пьянства пальцы запустил в портсигар, вынул две папиросы, одну ловко засунул за ухо, другую вставил в рот. Он полез к Бунину прикуривать, обдав его кисловатой вонью немытого тела.

– Что, Федька, колеса спер? Чья телега? – спросил Бунин.

– Кто ё знает! – спокойно ответил солдат. – Потерял кто-то, а мне колеса и оглобли как раз нужны.

– Так ведь это чужое!

– Ну и хрен с ей, што она чужая. Раз бросили – значит, мужики растащат. Уж лучше я воспользуюсь.

Бунин вспомнил, что этот Федька, как ему рассказывал брат Евгений, нагло разговаривал на «ты» с офицерами, что поставлены охранять усадьбу Бехтеяровых. Такой убьет ни за грош, лишь бы, по Достоевскому, «испытать ощущение». Сколько подобных выроdkов ядовитой плесенью вдруг выперло на российской почве – по городам и деревням! Страшно подумать. За что, Господи?

5

Пройдя версты полторы, Бунин сел на громадный пенек недалеко от раскинувшего шатром корявые могучие ветви дуба. Душа, словно желая вырваться из мрачной обыденщины, тянулась к высокому – к поэзии.

Достал немецкое «вечное перо» (он очень любил «вечные перья»!) и твердым, несколько угловатым почерком стал писать:

Ландыш

В голых рощах веял холод...
Ты светился меж сухих,
Мертвых листьев... Я был молод,
Я слагал свой первый стих —
И навек сроднился с чистой,
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

Бунин писал еще и еще, забыв про время, про завтрак, про все на свете. Возвращался домой голодный, прозябший, но счастливый, что вновь пишет, творит.

...Через пять дней, когда на календаре было 24 сентября, он перечитал написанное, немного поколебался и вдруг дернул из записной книги страницы и швырнул их в топившуюся печь. Оставил лишь «Ландыш», «Эпитафию», еще что-то.

Страницы ярко вспыхнули, отразившись багряным бликом на бунинском лице. В этот момент вошла Вера, она всплеснула руками:

– Что ты, Ян, делаешь? Зачем жжешь рукописи? Ведь ты создал шедевры!

Иван Алексеевич уже читал стихи жене, она была в восторге, и теперь было больно видеть ее искреннее огорчение.

– Не волнуйся, – ласково улыбнулся он, – твою любимую «Эпитафию» сохранил. Нельзя после себя оставлять второсортное, незрелое.

– Дай мне! – Вера приняла у мужа его записи и вслух прочитала:

Эпитафия

На земле ты была точно дивная райская птица
На ветвях кипариса, среди золоченых гробниц.
Юный голос звучал, как в полуденной роще цевница,
И лучистые солнца сияли из черных ресниц.

Рок отметил тебя. На земле ты была не жилица.
Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ.

Она обняла его, поцеловала звонко в губы и с восхищением воскликнула:
– Какое счастье быть женой поэта Бунина!

Свет незакатный

1

– Что с тобой, Ян? Последние дни ты сам не свой...

– Я ведь всегда говорил, что воспоминания – нечто страшное, что дано человеку в наказание. Вот и вспомнил я нечто...

Вера с любопытством, столь свойственным прекрасному полу, долго уговаривала:

– Ну скажи, Ян, о чем ты вспоминаешь? Зачем ты растревожил меня, а теперь молчишь?

Тогда вообще не следовало ничего говорить...

Бунин наконец сдался:

– Секрета нет! Просто это очень личное... Много лет назад случился этот роман, он глубоко ранил сердце. Только Юлий знает об этой истории. Но тебе, Вера, расскажу.

– Спасибо! Я не умею ревновать тебя к твоим прошлым влюбленностям.

– И правильно делаешь! Ревность не только бессмысленное чувство, оно, как ржавчина, способно разъесть самые прочные отношения. Итак, случилось это в начале века. Я окончательно расстался с Анной Цакни. Был свободен, словно ветер. К тому же, как говорили, недурен собой, молод, денежки водились, слава моя росла день ото дня. Книжки часто выходили, самые толстые журналы почитали за честь поместить мои творения на своих страницах.

Решили мы с Борей Зайцевым справить Новый год в Благородном собрании. Бал гремел вовсю, под потолок взлетали пробки шампанского. Кругом сияли счастливые лица, наряды, бриллианты, звучала музыка... Начались танцы. Леонид Андреев не отходит от какой-то юной прелестницы, увивается вокруг нее. Заметил меня, подлетел, полный самодовольства и своеобразной цыганской красоты. Представляет:

– Екатерина Яковлевна Милина, гимназистка из Кронштадта!

Девушка зарделась, не привыкла к столичному бомонду. Спрашиваю:

– И в каком же классе?

Просто отвечает, не жеманится:

– В дополнительном, восьмом. Я решила получить свидетельство домашней наставницы.

Вера, боявшаяся пропустить хоть слово в интересном рассказе мужа, вставила:

– Ну конечно, выпускницы гимназий, пожелавшие зарабатывать на жизнь частными уроками, нередко шли в дополнительный, восьмой. Два года в нем учились.

Иван Алексеевич продолжил:

– Захотелось мне позлить самоуверенного красавца Андреева, заставить его ревновать. К тому же эта самая Екатерина меня за сердце задела. Говорю: «Ах, как бы желал учиться у такой наставницы! Был бы самым примерным учеником».

Как я ожидал, Андреев засопел:

– У тебя, Иван, и без того ума палата...

– Ума палата, да другая непочата, – отвечаю быстро.

Леня напрягся и изрек:

– Не нужен ученый, важнее смысленный.

– Смысл не селянка, ложкой не расхлебается!

– Не купи гумна, купи ума! – пыжится соперник.

Да где Андрееву со мной тягаться, я в голове держу сотни всяких пословиц и прибауток. Моментально отвечаю:

– Голосом тянешь, да умом не достанешь!

Андреев мычит что-то невразумительное, а я ласково ему говорю:

– Не удержался, Леня, за гриву – за хвост не удержишься!

Катюша заливается как колокольчик, смеется, а мой приятель фыркнул да отправился танцевать с юной супругой статс-секретаря Государственного совета баронессой Дистрело.

Я на мгновение удержал за рукав Андреева:

– Знаешь, Леня, как атаман Платов французам говорил: «Не умела ворона сокола щипать!»

Ну а мы с Катюшей пошли полку танцевать. Потом в буфете пили шампанское, снова танцевали, шутили, смеялись без конца. Какой был сказочно дивный вечер, ничего подобного за всю жизнь не упомяну!

Потом, далеко за полночь уйдя с бала, мы гуляли по Москве. Многие окна в домах празднично светились, в небе изумрудными льдинками блестели звезды и всю сияла громадная луна, заливая улицы фантастическим фосфорным светом. Да и все вокруг казалось сказочным, нереальным. Я прижимался щекой к ее беличьей шубке, и состояние необычного блаженства пьянило меня.

Катюша была по-провинциальному наивна, чиста и доверчива. Она рассказывала о себе. Ее отец был в свое время главным архитектором Кронштадта. Умер совсем молодым, еще в 1891 году. Жила теперь Катя с мамой Евгенией Онуфриевной и своей старшей сестрой – тоже Евгенией. В Москве у нее тетушка, сестра отца. Она и пригласила Катю на рождественские каникулы.

– В Москве друзей много?

– Не только друзей – знакомых никого. Ведь я первый раз в старой столице.

– Если позволите, Екатерина Яковлевна, я буду вашим другом...

Она молча опустила глаза. Я перевел разговор на другую тему:

– Как идет жизнь в Кронштадте? Я ни разу там не был.

– Я ведь родилась в Кронштадте! – радостно подхватила Катя. – Конечно, нам с Москвой не равняться, но у нас тоже много замечательного и такие славные, душевные люди! Есть музыкально-драматическое общество. Весь город собирается на наши концерты, у нас две хорошие залы – в нашей гимназии и в реальном училище. Оркестр мандолинистов даже в Петербурге успехом пользуется. Чудесный голос у моей подруги Наташи Вирен, она романсы Чайковского исполняет. Еще скрипач Иван Александрович Козлов. Все девочки в него влюблены: у него пышные бакенбарды. И говорит басом, словно Шаляпин поет: о-о-о...

Она опять рассмеялась, и снег упруго скрипел под нашими ногами, искрился под лунным светом. Пересекли Лубянку, на которой скульптурно застыли в своих саночках два-три извозчика, пошли по пустынной в этот час, узкой и длинной Мясницкой.

– Я все жду, когда вы, Екатерина Яковлевна, про себя расскажете. Ведь, признайтесь, вы в концертах участвуете?

– Конечно! Читаю стихи Лермонтова и... ваши.

– Очень приятно! И какие же стихи вы читаете мои?

– Я много знаю ваших стихов! – заговорила Катюша жарким шепотом, останавливаясь и блестящими глазами глядя на меня в упор. – Я была совсем ребенком, когда завела альбом, куда записываю любимых поэтов – Пушкина, Лермонтова, Надсона, Апухтина, вас...

Бунин от волнения осекся, помолчал, накинул плащ и вышел во двор. Погода делалась все пасмурней, тяжелые лохмы туч ползли по низкому, серому небу, с карниза веером срывались в лицо мелкие капли.

* * *

С необыкновенной ясностью вспомнилась та рождественская ночь. Голову Катюши обрамляла старинная шаль, а возле рта серебрилась инеем. Глядя на ее лицо, на русую прядку

густых волос, выбившихся из-под шали, он вдруг понял, что любит ее так, как никогда и никого не любил и, наверное, не полюбит.

Катя, глядя ему в глаза, тихо начала читать:

Помню – долгий, зимний вечер,
Полумрак и тишина...
Тускло льется свет лампы,
Буря плачет у окна...

Бунин был явно польщен.

– Господи, где вы такую древность откопали? Эти стихи я написал сто лет назад. Впервые опубликовал в «Книжке „Недели“» в январе восемьдесят девятого года. Как быстро время пронеслось! Мне было восемнадцать. А сколько вам?

Он наклонился к ней, прильнул к ее губам. Она всем гибким телом прижалась к нему и лишь мучительно выдохнула:

– Душа моя...

2

Целые дни они проводили вместе. Обедали в трактире Егорова, что в Охотном ряду против «Национальной» гостиницы, или в «Большом московском трактире» у Корзинкина. Вечером гнали в «Стрельну» или к «Яру». Они окунались в ресторанное многоголосье с цыганским пением и плясками, тонким позвякиванием хрусталя, с дружескими тостами, объятиями друзей, льстивыми речами.

Потом, возбужденные всей этой праздничной и шумной обстановкой, выходили на морозный воздух, садились в сани, их ожидавшие. Ямщик помогал укутаться громадной медвежьей полостью. Бунин, замирая от предстоящего счастья, кричал ямщику:

– Гони всю, прокати с ветерком!

Ямщик старался изо всех сил, наяривая кнутом по могучим лошадиным спинам. Пара летела птицей, коренник дробил крупной рысью, пристяжная метала из-под серебристых подков снежными комьями. Сани неслись по уснувшему городу, опасно подпрыгивая на ухабах, грозно накрываясь на поворотах.

Он шептал ей нежно:

– Катенька, ты не боишься?

– С тобой, милый, я ничего не боюсь.

– А если шею сломаем?

– Ведь ты рядом, душа моя.

И они, откинувшись назад, вновь заходились в поцелуе.

* * *

Перед отъездом Катя привела его к себе. Старинный особняк спрятался в тихом дворике, за яузским полицейским домом, что на углу Харитоньевского и Садовой-Черногрязской. Ее тетушка, милейшее существо, радушно улыбалась:

– Да вы пирожков откушайте! Сама пекла...

Это был их последний вечер. Ближе к полуночи они наняли извозчика и, спустившись по Каланчевке, оказались на Николаевском вокзале. По настоянию Ивана Алексеевича Катюша ехала в отдельном купе первого класса.

На дебаркадере была обычная бестолковщина, которая случается перед отходом пассажирского: торопливо снующая публика, носильщики с чемоданами, поцелуи и крики, запах дыма, гудки паровоза.

Они вошли в купе, присели «на дорожку». На глазах Катюши были слезы, но она старалась бодро улыбаться:

– Приезжайте сразу после Масленицы, будем отмечать двухсотлетие Кронштадта. Какие пройдут балы и концерты! Обещайте, приедете?

– Может быть.

– Вот будет фурор! Сам Бунин у нас! Вас ждет триумфальная встреча... И с вами, милый, все время рядом буду я. Ах, скорей бы, душа моя!

– Постараюсь! – сказал он, хотя знал, что никуда не поедет.

– Если не выйдет, так сделаем, как договорились: по окончании курса сама приеду к вам. Навсегда. Я понравлюсь вашим родителям?

– Конечно! – горячо воскликнул Бунин, жарко целуя ее глаза и влажные губы.

Медно звякнул колокол. Катюша еще раз порывисто обняла его, торопливо забормотала:

– Не забывай меня никогда, никогда!

Что-то екнуло в сердце. Путаясь в длинных полах роскошной соболиной шубы, Бунин спустился с вагонных ступенек.

Лязгнули буфера, поезд лениво пополз вдоль дебаркадера.

3

В Кронштадт он, конечно, не поехал. Зато она писала ему, он отвечал ей хорошими письмами. Потом от Катюши письма приходиться перестали.

Уже в начале лета, когда буйно цвела сирень, он проходил по Харитоньевскому переулку. Неожиданно для себя свернул во дворик углового дома. На скамейке, в тени деревьев, сидела с вязаньем тетюшка Александра, с удивительно добрым лицом. Когда Бунин напомнил ей о себе, она вдруг тихо заплакала:

– Катя навсегда покинула нас... Во время Масленицы каталась на санях, продуло ветром... Ее отец, Яков Алексеевич, тоже умер от крупозного воспаления легких.

Не помня себя, Бунин вышел на Садовое кольцо. Всю ночь с подвернувшимся под руку Чириковым пил водку, и водка не брала его. В ушах звучал Катюшин голос: «Тихо льется свет лампы...»

Теперь, спустя полтора десятилетия, неожиданно нахлынувшие воспоминания разбредили сердце. Уединившись в своей комнате, Иван Алексеевич писал:

Свет незакатный

Там, в полях, на погосте,
В роще старых берез,
Не могилы, не кости —
Царство радостных грез.
Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей —
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей,
Не плита, не распятые —
Предо мной до сих пор

Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, бывшего
Нет давно и меня!

Вдруг что-то стукнуло в окно. Бунин прильнул к стеклу. Сжалось сердце: ему показалось, что меж черных деревьев мелькнуло Катино лицо.

4

С вечера Бунин долго не мог уснуть. То и дело по селу раздавались какие-то пьяные крики, бабье взвизгиванье, нестройные песни. Несколько раз кто-то палил из охотничьих ружей. Затихло лишь далеко за полночь.

Бунин забылся в тяжком, словно похмелье, смутном сне. Под утро ему приснилось, что лежит он навзничь на горячей, распаленной полуденным жаром земле среди бурно разросшейся садовой зелени. Но вот, густо шумя, заволакивая знойно-эмалевое небо совершенно черными, как гробовой креп, облаками, рос и приближался огненный смерч. Вокруг вспыхнуло всепожирающее пламя, до самых небес протянуло свои яркие мотающиеся вихри. Бунин хотел бежать – и не мог. Он задыхался среди пожара – земля не пускала его.

...Враз наступило пробуждение – хлопнув дверью, в спальню влетела в ночной сорочке Вера. Рыдая, она бросилась на грудь мужа:

– Ян, мужики опять отправились громить Бахтеяровых, уже горит барский дом. В открытую все говорят, что теперь на очереди мы...

Бунин с минуту молча сидел на краю постели, свесив сухие в щиколотках ноги и приходя в себя. Резко поднялся, решительно произнес:

– Чернь без узды страшнее бешеных волков. Если нет сил противиться дикому разгулу толпы – лучше бежать. Собирайся, сегодня же – в Москву!

* * *

Быстро покидав самое необходимое в два чемодана, распорядившись насчет лошади, они спустились во двор. В саженьях двухстах, за текущей вдоль Глотова речушкой Семенек, разгульная, уже пьяная толпа громила винные склады Бахтеяровых. Пожар успели затушить. В воздухе висел дурной запах погорелья, доносился собачий лай да гомон гулявших погромщиков.

Шустрая гнедая кобылка резво потащила телегу. Въехали в ближний лесок. Солнце поднялось над верхушками дальнего леса. Ярким прощальным светом озарило ликование осенней природы. Янтарно-багровые цвета ярче оттенял купоросно-зеленый мох старых вырубков. Оставшиеся зимовать птицы весело суетились возле тяжелых гроздей вполне вызревшей рябины.

Весь этот золотой праздник природы создавал удивительную несовместность с погребальным настроением Бунина, и оттого на душе делалось еще горше.

Вдруг он привстал, опираясь на край телеги, взглянул на показавшуюся из-за излучины дороги березовую рощицу и, не отводя от нее долгого взгляда, перекрестился.

– Вера, горше всего оставлять в этой роще, на бедном сельском кладбище прах мамы, Людмилы Александровны. Та просила меня лишь об одном: «Ванюшка, не забывай моей могилки...» Мамочка, прости! Будущим летом приду к твоему последнему приюту, выложу его дерном, засею вокруг мак. Ты всегда любила цветы!

Вера сочувственно вздохнула, словно понимала: отеческих могил им больше не видать.

* * *

В Ельце он заночевал, остановившись на Большой Дворянской в доме знакомого нам присяжного поверенного окружного суда Барченко. На свое несчастье, он забыл тут свой портфель с рукописью для «Паруса», вспомнил об этом лишь в поезде.

Вагон третьего класса, в который ему удалось втиснуться, был донельзя набит разночинной публикой, среди которой все же выделялась солдатня. И в без того тяжелом воздухе то и дело вспыхивали огоньки козых ножек. Сидевший возле запотевшего окна господин в пальто с круглым каракулевым воротником, давно сердито поглядывавший на куривших солдат, нервно произнес:

– Почему вы курите? Ведь дышать нечем, а здесь женщины, дети!

Солдат с выпуклыми водянистыми глазами и головой, перевязанной грязной тряпкой, злорадным тоном превосходства сквозь узкую щель рта выдавил:

– Что, трудящим теперь покурить нельзя?

В разговор вступила баба, лежавшая на верхней багажной полке и без остановки лузгавшая семечки. Она сплевывала в кулак, и шелуха время от времени падала на разместившихся внизу.

– Ишь, шибко грамотный какой! – Она остервенело уставилась на господина. – Воздух буржую не ндравится! Может, тебя за окно выставить? На ветерок?

Мужики, бабы и солдаты загоготали.

– Как вы смеете? – возмутился господин.

– Так и смеем! – угрюмо произнес оборванный мужик в овчинной шубе и с деревяшкой вместо ноги. – Хватит, накомандовались! Теперь мы будем распоряжаться, а вы – вертеться...

Господин отвернулся к окну и не отрываясь смотрел в кромешную тьму. На плечо Бунину летит сверху семечная шелуха. Мужик с деревяшкой отрывает полоску газеты, жирно плюет на заскорузлые пальцы и скручивает сигарку.

...Так для писателя заканчивается день, который будет вписан кровавой строкой в российскую историю, – среда, 25 октября 1917 года.

Октябрь, 25-е

1

В тот ночной час, когда, тесно прижавшись друг к другу, Бунины разместились на узкой полке железнодорожного вагона, уносившего их к Курскому вокзалу в Москве, еще двое лежали под общим одеялом в дальней комнатухе Смольного института благородных девиц. Наслаждались отдыхом два вождя. Одного вождя звали Ульянов-Ленин, другого – Троцкий.

В институт – творение великого Кваренги – еще 4 августа перебрался из Таврического дворца Петроградский Совет и ЦИК. Но вскоре отцам революции соседство с девицами стало в тягость. Видимо, юные прелестницы не были предметом увлечения партийцев, мешали им отдавать себя целиком и полностью строительству светлого будущего. Последовал начальнический приказ: «Девицам частично освободить помещение!» Тем пришлось потесниться.

Вот как писал об этой исторической ночи Троцкий:

«Мы лежали рядом, тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли. Мы вполголоса беседовали, Ленин только теперь окончательно примирился с оттяжкой восстания. Его опасения рассеялись. В его голосе были ноты редкой задушевности. Он расспрашивал меня про выставленные везде смешанные пикеты из красноармейцев, матросов и солдат. „Какая это великолепная картина: рабочий с ружьем рядом с солдатом у костра! – повторял он с глубоким чувством. – Свели наконец солдата с рабочим!“ Затем он внезапно спохватывался: „А Зимний? Ведь до сих пор не взят! Не вышло бы чего?“ Я привстал, чтобы справиться по телефону о ходе операции, но он меня удерживал. „Лежите, я сейчас кому-нибудь поручу“. Но лежать долго не пришлось. По соседству в зале открылось заседание съезда Советов. За мной прибежала Ульянова, сестра Ленина...»

– Идите, Перо! – неожиданно срывающимся голосом проговорил Ильич. От волнения он даже назвал соратника по кличке – Перо.

Согласно продуманному сценарию, Троцкий должен был появиться первым и огласить новость исторического масштаба.

Поправляя на ходу жесткую шевелюру, отряхивая от прилипших соринок костюм, Троцкий поспешил в зал. Он еще раз прокручивал в голове фразы, которые сейчас произнесет перед Петроградским Советом. Через боковую дверь Троцкий вошел за кулисы, энергично откашлялся, смачно сплюнул в пыльный угол и шагнул на сцену...

Зал был переполнен, и с серых лиц скатывались градины пота. Представители губернских Советов и депутаты Петроградского Совета, завидя Троцкого, с восторгом захлопали в ладоши и застучали по паркету ногами. Тот, нервно дернув головой, взошел на трибуну. Часы точно отметили время великого момента – два часа тридцать пять минут 26 октября. Еще накануне Лев Давидович перед депутатами Совета категорически заявлял: «Ни сегодня, ни завтра вооруженный конфликт не входит в наши планы!»

Но теперь получалось так, что истинные намерения расходились со словами. Ведь не могла же партия за несколько часов коренным образом изменить тактику! По-орлиному взглянув на собравшихся, Троцкий гордо вскинул козлиную бородку, взмахнул обеими руками.

– От имени Военно-революционного комитета объявляю... – Как опытный актер перед убийственной репризой, выдержал паузу, а затем, не жалея голоса, победоносно выпалил: – Временное правительство больше не существует!

Рев прокатился по залу. Все вскочили, топали сапогами, истошно заходились в крике: «Наша взяла! Ура!»

Троцкий таял от восторга, он крикнул:

– Да здравствует Военно-революционный комитет!

Социальный изгой, родившийся тридцать восемь лет назад в глухой деревушке Яновке Херсонской губернии, ликовал. Он всегда, сколько помнил себя, носил какую-то смутную, неоформившуюся, но твердую уверенность, что будет повелевать людьми. Мечта была нереальной, даже смешной, но он годами вынашивал, лелеял ее. И вот пришел долгожданный миг. Толпа рукоплескала ему, он вознесен над всеми!

Все больше впадая в экстаз, жестикулируя, играя голосом, Троцкий электризовал толпу, кидая ей слова:

– Министры Временного правительства арестованы... Предпарламент распущен... Железнодорожные вокзалы, Центральный телеграф, Госбанк заняты революционными войсками! Зимний дворец пока не взят, но судьба его решается в этот момент!

Дождавшись, когда уставший от восторгов зал поутих, Троцкий поставил в своей речи победоносную точку:

– Обыватель мирно спал и не знал, что с этого времени одна власть сменяется другой!

«Обыватели» – русские люди – действительно мирно спали, не подозревая, что именно в эту ночь судьба готовила им гражданскую войну, голод, тиф, концлагеря, повальную слежку, лишение всех прав и на целые десятилетия – страх, страх, страх...

Пришел нужный момент, как и было предусмотрено заранее, в зале появился Ленин. Троцкий, словно для жарких объятий, протянул навстречу руки. Он завопил так, что, кажется, закачались подвески на люстрах и окончательно пробудились очаровательные обитательницы в неоккупированной зоне дворца:

– Да здравствует товарищ Ленин, он снова с нами! – и предупредительно соскочил с трибуны.

Зал ликовал.

Они стояли рядом – плечо к плечу, их распирала гордость, они счастливо улыбались и аплодировали залу.

Ленин взошел на трибуну и, сильно грассируя, произнес слова, которые позже узнал каждый советский школьник, которые тысячекратно вводили в свои кино- и прочие сценарии драматурги, воспроизводили историки, присяжные восхвалители всех мастей:

– Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась... Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.

Одной из очередных задач является необходимость немедленно закончить войну...

Мы приобретем доверие со стороны крестьян одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьянства... У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции.

В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция!

Зал радостно гудел, хлопал в огрубелые ладоши, хотя трудно было понять, что выкрикивает этот картавый оратор. Но самый темный солдат вдруг ощутил себя лицом значительным, тем, кто был ничем, но скоро якобы станет всем.

2

Бунин стоял у окна вагона. Поезд при подъезде к Москве несколько замедлил ход. Мимо мелькали знакомые дачные поселки, деревья с обнаженными ветвями, убранные поля.

Потом началась окраинная Москва с ее приземистыми домами из обожженного темно-красного кирпича, домами, которые строили с расчетом на внуков и правнуков. На крутом

холме показался белокаменный красавец – Андроников монастырь, за могучими стенами которого покоится прах великого иконописца Андрея Рублева.

Въезжая на мост, под которым текла сонная Яуза, поезд дал раскатистый гудок. На вязком берегу, утопая копытами в грязи, стояла рыжая в белых пятнах корова, размахивавшая несоразмерно длинным хвостом. Задрав голову, она трубно мычала.

И вот последние приметы, за которыми сразу же начнется дебаркадер, – завод Федора Гакенталья и два крошечных мостика над Сыромятниками.

* * *

Бунин, едва выйдя с женой из вагона, заметил неестественное, чуть ли не праздничное возбуждение вокзальной толпы. Все чувствовали себя детьми, любующимися пожаром. В городе, судя по множеству признаков, творилось что-то необыкновенное.

То и дело попадались небольшие вооруженные отряды рабочих и солдат. На рукавах у некоторых краснели повязки. Мелькали кумачовые флаги. Старались попадать в ногу, распевая несусаицу:

Мы жертвою пали в борьбе роковой...

Хотел купить газеты, оказалось, что почти все запрещены большевиками. Настроение было окончательно испорчено.

До Поварской добрались без приключений. Остановились в доме под номером 26 во второй квартире – это слева на первом этаже.

Бунин отправился принимать ванну, а Вера побежала в банк – забирать деньги. К вящему удивлению мужа, она вернулась сияющей: ей удалось получить весь остаток – восемь тысяч рублей.

На следующий день Бунин позвонил в Елец Барченко:

– Василий Ксенофонович, мой портфель...

– Да, конечно! Сегодня отправлю ночным двести первым поездом. Отдам обер-кондуктору.

* * *

С каждым днем и, пожалуй, даже с каждым часом в Москве нарастало противостояние законной власти, образовавшей при Думе Комитет общественного спасения, и большевистских заговорщиков, назвавшихся «Военно-революционным комитетом».

Каждая сторона заняла выжидательную позицию. Только благодаря этому в первые дни после захвата Лениным власти в Питере и в Москве обошлось без кровопролития.

И все же, когда в полдень 27 октября Бунин собрался на Курский вокзал, Вера твердо заявила:

– На дворе беспокойно! Я пойду с тобой.

Вздохнув, Бунин согласился.

Поезд из Ельца безбожно опаздывал.

Бунин нетерпеливо прохаживался по перрону, сердился, ругался:

– Где это видано! Третий час жду. Это большевистская власть так началась. Никогда прежде поезда не опаздывали. Сколько еще нам киснуть тут? Без-зобраие!

В это время где-то вдали грохнуло – словно гром по небу прокатился. Потом ухнуло еще и еще. Стало ясно: стреляют из пушек. У Бунина вытянулось лицо.

– Что такое? В Москве – война? Ну дожили...

Стрельба то затихала, то возобновлялась. Бунин нервничал все больше.

Наконец поезд прибыл. Бунин отыскал обер-кондуктора, получил свой портфель и щедро отблагодарил его красненькой. Вышли на привокзальную площадь. Теперь стрельба гремела беспрерывно. Порой глухо ухали пушки. День был теплый, пасмурный, в воздухе висел густой туман.

– Где стреляют? – спросил Бунин празднo стоявшего носильщика.

Тот неопределенно пожал плечами:

– Кто ё знает... Я на Земляном Валу живу. У нас пока тихо. А вот на Тверской, рассказывают, пуляют. И на Красной площади тоже. – Он прислушался к артиллерийской канонаде и радостно-идиотски улыбнулся: – Будто Илья-пророк в колеснице катается! Во как матушка-Москва зашумела-загудела. Громом гремит, молнией озаряется! Чисто праздник престольный...

С извозчиком не торговались.

– Поезжай через Земляной Вал, – приказал Бунин. – С той стороны, кажется, стрельбы не слышно.

Извозчик погнал сытую бокастую кобылу. Выехав на Земляной Вал, спорo взял влево, к Покровке. Город за несколько часов преобразился.

На всех углах, на тротуарах и отчасти на мостовых чернели толпы. Хотя трамваи не ходили, извозчиков и автомобилей стало меньше, чем обычно. Раза два-три Бунин видел санитарные кареты, направляющиеся в центр.

Навстречу им несколько раз попадались дамы и господа – в колясках и пешие, обремененные тяжелой поклажей, державшие на руках плачущих детей.

– Почему они бегут? – обеспокоилась Вера.

– Буржуев какой день уже громят, – повернув плотную шею, пробасил извозчик. – Из квартир выгоняют, добро отбирают.

Когда поворачивали к Чистым прудам, со стороны Ильинки с пугающей близостью грохнули пушечные выстрелы, раздался сухой треск ружей и дробный стрекот пулеметов. Где-то поблизости, выбивая из окон стекла, ахнул взрыв. У Бунина заложило уши, потемнело в глазах.

Лошадь присела на задние ноги и вдруг понеслась, словно шалая. Упираясь в передок, извозчик тянул вожжи:

– Тпру, окаянная! Куды тебя несет?

Вера вцепилась в руку мужа. Возле углового дома упала старуха, уронив кошелку, разметав в стороны руки. Но поднялась, пригибаясь почти до булыжной мостовой, заковыляла к ближайшему подъезду.

Миновали Мясницкие Ворота, спорo спустились со Сретенской горки. Тут извозчик стал сдерживать лошадь. На Трубной площади, в народе прозванной Трубой, стояла густая толпа. Это был народ разных званий и возрастов, но преобладали плохо одетые люди рабочего вида, толкавшиеся без дела. Труба годами служила птичьим базаром.

Бунин повернул лицо к жене:

– «Люди на Трубе копошатся, как раки в решете». Это Чехов сказал. До чего же точно!

Вера удивилась:

– Надо же! Бунина чуть бомбой не прихлопнуло, а в нем художник говорит.

Оба вдруг улыбнулись.

– Чем труднее положение, тем больше обостряется восприятие, за собой словно со стороны наблюдаю. Кстати, такая способность была сильно развита у Толстого. Думаю, это одна из причин, почему он не ведал страха.

– Как и ты!

– Даже сравнивать грех! Он один такой – сияющая горная вершина, а мы – муравьи у ее подножия.

* * *

Извозчик остановился. Дорогу преградила толпа, слушавшая почтенного господина с густой окладистой бородой, похожего на купца. Поворачиваясь влево и вправо, он убежденно говорил:

– Германский кайзер сто пудов золота нашим революционерам отвалил. Дескать, рушьте все, а за мной не заржавеет, я вам за усердие еще добавлю. Вот российский престол и низвергнули. Теперь перестреляют сто тысяч православных, а из церквей все иконы вынесут. Поругание начнется... Ровно на сто лет!

Старуха в древнем рыжем салопе, внимательно слушавшая купца, заголосила:

– Матушка Царица Небесная, спаси и сохрани от извергов!

Проходивший мимо белокурый человек лет тридцати, в студенческой фуражке, в хорошей суконной шинели, с громадным дымчатым шарфом вокруг шеи, поправил пенсне и, презрительно посмотрев на купца-оратора, сквозь зубы процедил:

– А в пятом году тоже кайзер помогал? Привыкли виновных на стороне искать.

– Ты, студент, не лайся! – вступила в разговор толстая баба, перехваченная крест-накрест цветной шалью, державшая в руках хозяйственную корзину. – От вас, смутьянов, одно беспокойство. Митинги, паразиты, устраивали!

– Пороть чаще их надо, этих студентов, – заметил извозчик, решительно направляя сквозь толпу лошадь.

К Бунину подскочил мальчишка в косо сидящем картузе.

– Дяденька, купи патроны. – Он протянул пригоршню. – За семик все отдам.

Извозчик поднял кнут:

– Я тебе, шельмец, сейчас такой семик дам, что до морковкина заговенья будешь помнить. Не беспокой барина!

Мальчишка отстал.

Выехали на Страстной бульвар.

В центр не пропускали ни пешеходов, ни конных, только «своих» – по мандатам. Густая цепь солдат запирала все подходы к генерал-губернаторскому дому. Теперь там был штаб большевистских отрядов.

Беспрерывно нажимая на клаксон, лихо подлетели два авто, из которых торчали красные флаги. Солдаты моментально расступились.

– Во как начальники раскатывают! – щелкнул кнутом кобылу извозчик. Помолчав, добавил: – Хоть бы все, собаки, друг друга перестреляли. Оставшихся – на осину, царя-батюшку обратно на престол.

Трах! Бах! – загремело с Петровки.

Вера перекрестилась, извозчик хлестнул кобылу, а Бунин увидал в нескольких шагах от себя двух санитаров. На длинных узких носилках несли человека с безвольно болтавшейся окровавленной головой. Длинные смолянистые волосы спеклись в густую массу, оттеняя смертельно бледное лицо с закатившимися глазами.

У Бунина болезненно сжалось сердце.

* * *

Чем ближе к центру города, тем делалось тревожней. Под воротами, возле дверных навесов и по углам домов стояли солдаты с винтовками, опасно и зорко посматривая во все стороны. С Охотного ряда беспрерывно раздавалась стрельба. Здесь улицы были тревожно-пустынны.

По Тверской, со стороны Ходынского поля, неслись авто, набитые вооруженными солдатами и рабочими. Из кузова торчали вверх винтовки с примкнутыми штыками. Издали все это напоминало ошестинившихся ежей.

По мостовой, ближе к тротуарам, двигались отряды Красной гвардии и солдат. Некоторые были опоясаны пулеметными лентами. Шли вразброд, почти не разговаривая. В их лицах чувствовалось напряжение, тревожное ожидание. Бесшабашней выглядели юнцы в засаленных и рваных рабочих пиджаках, подпоясанных новыми солдатскими ремнями. На ремнях болтались серые холщовые сумки с патронами. Юнцы неумело тащили винтовки, то и дело перебрасывая их с плеча на плечо.

– Куда они? – недоуменно спросила Вера.

– На бойню! – коротко ответил вконец помрачневший Бунин.

Из Страстного монастыря вышла большая группа вооруженных рабочих. Стараясь выглядеть боевитей, они с малым успехом пытались сохранить стройность в рядах и при этом пели:

Смело, товарищи, в ногу...

– Большевики пошли власть завоевывать! – усмехнулся извозчик.

На монастырской башне зазвонили часы. Звучали они по-старомодному печально и звонко, словно перекликалась стая заблудившихся в тумане волшебных, нездешних птиц.

Извозчик повернул широкую спину и перекрестился на колокольню.

Вера прижала платочек к глазам. Бунин нахмурился.

Господи, думалось ему, неужели это конец? Неужели толпа сокрушит Россию? Нет, не может быть! Россия велика и могущественна.

Когда пересекали Большую Никитскую, на углу Медвежьего переулка вновь увидели санитаров, сносивших убитых и раненых к крытому авто с красным крестом. Рядом с авто металась, словно черная тень, растрепанная женщина. Она вздымала к небу руки и неистово голосила:

– У-у, батюшки! Ох, родимые... О-о-о... Юнкера убили моего сыночка. У-у-у... – И она повалилась на землю.

– А все-таки, – убежденно повторил извозчик, направляя лошадь в разрыв между колоннами, – всех социалистов – на осину! Чем быстрее, тем спокойней. Пока гидра в силу не вошла.

3

Все жили словно на вокзале: в постоянном ожидании поезда, который повезет в «лучшее будущее», обещанное большевиками всем, кроме буржуев. Землю – крестьянам, заводы – рабочим, свободу – «трудящимся», под которыми подразумевались те же крестьяне и рабочие.

Что касается всего остального многомиллионного населения бывшей Российской империи, то новая власть призывала на их головы все самое страшное, что существует под солнцем. Открывая газету, Бунин ежедневно находил призывы: «Уничтожить паразитные классы общества!», «Беспощадно истреблять эксплуататоров!», «Полностью подавить сопротивление буржуазии, уничтожить ее как класс!»

К ружью приравнили перо не только генералы от большевистской литературы Демьян Бедный и Владимир Маяковский, но из каких-то щелей повылезали новоявленные барды. Один из самых шустрых – сын одесского мещанина Иоля-Шимона Гершенова-Безыменского Александр, который вскоре будет признан первым поэтом комсомолии. Он сочинил не шибко грамотное, но ужасно страстное стихотворение «Красный террор», посвященное кроважидному уродцу – Марату:

Эй, Пролетарий,
Смело вперед!
Грозную кару
Труд принесет.
Помни: мы судьи!
Знай же, кто враг:
Меч Правосудья
В наших руках...
Кровь ради крови.
...Знай – безотраден
Путь полумер.

Покатилась Русь-матушка с той высоты силы и величия, на которую взбиралась веками. И катилась она, согласно законам физики, все быстрее и быстрее, так что порой казалось благом окончательное падение. Пусть придет любая власть, лишь бы она была твердой, лишь бы прекратила бандитизм, наполнила прилавки былым изобилием.

Каждый день гремели пушечные удары, порой так близко, что жалобно звенели стекла. Случались и перерывы. Полчаса, а порой час царила тишина, и это затишье было особенно тяжелым. Что пушки вновь выпустят снаряды – сомнений нет, но где на этот раз они упадут, куда и кому принесут смерть? Люди стали беззащитными.

Кровь ради крови...

4

В каждом доме, в каждой семье двухмиллионной Москвы, в ее 563 церквах с 698 приделами при них люди страстно молили Господа о мире, о том, чтобы пресекли большевиков с их грабежами, насилиями, убийствами.

Бунин твердил:

– Только законная власть спасет Россию! – подразумеваемая теперь под такой властью кого угодно, только не большевиков.

Но большевиков пока никто не пресекал. А вот они пресекали кого угодно.

Облачившись в халат, Бунин нервно расхаживал по гостиной – из угла в угол, натываясь на табурет возле рояля, чертыхаясь, то и дело подходя к окну, словно надеясь, что там вот-вот произойдут перемены к лучшему.

Зазвонил телефон. Телешов спросил:

– Иван, что у вас на Поварской, стреляют?

– Еще как! – грустно усмехнулся Бунин. – Большевики, кажется, Москву перепутали с германским фронтом.

– Как раз нет! Там они призывают сдаться на милость победителей.

– Видать, против своих воевать им охотней!

– Еще бы! В Питере у них гладко все прошло.

Бунин с тревогой спросил:

– Неужто и здесь они власть захватят?

– Вряд ли! – уверенно возразил Телешов. – Весь Московский гарнизон остался верен присяге. Создан «Комитет общественной безопасности». Наши укрепились в Кремле, телефонная станция тоже в наших руках.

– В Кремле ведь весь арсенал был?

– Он там и остался! В этом наша сила. Мятежники почти безоружны.

– Я вчера встретил на Зубовском бульваре генерала Потоцкого. Он сказал, что в руках большевиков тяжелая артиллерия.

Телешов ахнул:

– Не будут же они из пушек палить по кремлевским святыням! Русский человек не может опуститься до такой низости. А я к тебе с приглашением. Приезжай к нам с Верой Николаевной.

– Пожалуй, приеду! – охотно согласился Бунин. – Особенно если чаем напоишь. Сахар еще есть?

– Не только чаем, обедом накормлю. Таким, как в мирное время. К обеду и приезжайте, к шести часам.

* * *

Славный уют телешовской квартиры с ее старинным убранством, мягкий свет керосиновой лампы-«линейки» (электроэнергию опять отключили), тишина в доме и за окном (с наступлением темноты перестрелка закончилась) – все это миром сошло на истерзанную душу.

Елена Андреевна, супруга Телешова, сервировала стол. Приборы, как и положено солидному купеческому дому, были серебряными. Кухарка Саша, крепкая деревенская девка, светившаяся каким-то особым расположением к людям, готовностью служить всякому, с кем сводит судьба, ловко помогала хозяйке.

Их сын – Андрей Николаевич, семнадцатилетний студент с тщательным пробором и в лакированных штиблетах – утонул в глубоком мягком кресле, щипал струны гитары и потихоньку, но с чувством напевал:

Бессонные ночи, разгул и вино
Все тело мое отравили.
Мне в жизни теперь остается одно:
Надеюсь на отдых в моги-и-ле...

Вера поинтересовалась:

– Леночка, какие нынче в Москве цены на базаре?

– Три шкуры дерут! За фунт мерзлой баранины просят синенькую.

(Заметим, что исконные москвичи почти никогда не называли денежную цифру. У бумажки каждого достоинства было свое прозвище: один рубль – целковый, целковик; три рубля – зелененькая; пятерка – синенькая; десять рублей – червонец, красненькая; сто рублей – катюша, по портрету Екатерины II, на ассигнации изображенной, и т. д.)

Вера, несколько отставшая от московского быта, охнула:

– Чистый разбой! Давно ли за крупную молочную телятину по двугривенному давали!

Елена Андреевна вздохнула:

– За пуд севрюги красненькую платили...

В разговор влезла Саша, умевшая в лавках так бойко торговаться, что едва ли не за половину назначенной цены брала, особенно если продавец был молодым:

– А для чего, барыня, вы повадились на Трубный рынок ездить? Там завсегда лишнего берут. Надо на Немецкий или Леснорядский. Хоть и дальше, зато много дешевле.

В другом углу гостиной Бунин горячо доказывал Николаю Дмитриевичу:

– Почему большевики так легко одолели Временное правительство? Ведь у них силы настоящей нет, да и мужику по сердцу не их декларации, а лозунги эсеров.

– Ну, большевики в Петрограде – калифы на час...

– Может, и так! Но ведь сумели же захватить власть в Северной столице! Стоило большевикам топнуть сапогом – и Временное правительство разбежалось.

– Временных давно надо было турнуть! – с важностью уронил Андрей Николаевич, вешая на стену гитару.

– Ты бы, сынок, помолчал! – сурово оборвала его Елена Андреевна. – Не лезь в разговор старших.

– Андрей прав! – поддержал гимназиста Бунин. – Это правительство никуда не годилось. Кто там царил? Чернов – министр земледелия! Да он прясло от бороны не отличит. Ну, сменил его Шингарев. По образованию – врач, по устремлениям – журналист. Прославился тем, что постоянно влезал на думскую трибуну – лишь бы трещать как сорока. И вот он-то «мудро руководил» сельским хозяйством России...

– Ян, о чем говорить, если и Шингаревым, и Некрасовым, и князем Львовым – всем Временным правительством командует этот кривляка – присяжный поверенный Керенский! – сказала Вера.

– Несчастное существо! – Николай Дмитриевич потерял свою короткую бородку. – Способности самые ограниченные...

– Зато амбиции Наполеона! – вновь влез в разговор Андрей Николаевич, за что был отлучен от компании взрослых и отправлен обедать на кухню.

Злободневный разговор прервала хозяйка:

– Пожалуйста, к столу!

* * *

Пили водку под малосольный астраханский залом – селедку, спинка которой была шириной в ладонь, источала нежный жир и таяла во рту. Дамы предпочли пиво, закусывая его швейцарским сыром и фаршированной колбасой. Андрей Николаевич, смешивший на кухне анекдотами Сашу, по малолетству пива был лишен. Ему по вкусу пришлось солянка из осетрины на сковороде.

Обед был долгим, неспешным, по-старинному сытным. Словно древние стены сообщали его насельникам мудрую степенность. Да и то сказать, стоял дом аж со времен Елизаветы Петровны – с 1747 года, хотя и был несколько перестроен в 1813-м.

Принадлежал он знаменитым купцам-миллионерам Корзинкиным, точнее, одному из их славных представителей – торговцу чаем Андрею Александровичу. Купец был сметлив, честен и удачлив. Повезло Корзинкину даже со смертью – умер он в 1913-м, последнем счастливом году России. Домовладелицей стала его дочь Елена Андреевна. Было ей тогда без малого пятьдесят.

Когда обед был наконец благополучно завершен, хозяйка села за рояль и спела бархатным контральто:

Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу реки...

Бунин с чувством поцеловал ей руку.

– Лена, презентуй Буниным открытку! – подал голос Николай Дмитриевич.

– Какую такую открытку? – оживилась Вера.

Дело в том, что Елена Андреевна в свое время училась в школе живописи. Ее картины охотно брали на выставки, а одну приобрел даже Павел Михайлович Третьяков для своего знаменитого музея. С той картины были напечатаны открытки «Весна». Теперь Елена Андреевна нарисовала одну из них: «Милому Ивану, которого мы очень любим!»

– Спасибо! – улыбнулся Бунин. – Почти так мне надписывал свои фотографии молодой Шаляпин: «Милому Ване от любящего тебя Шаляпина».

* * *

Стали говорить о Федоре Ивановиче, о том, как он сидел за этим роялем и его могучий голос заставлял дрожать подвески на люстрах, а прохожие собирались под окнами. Он был частым гостем и на литературных «Средах», проходивших много лет под крышей радушного дома Телешова. Председательствовал на собраниях общий любимец – Юлий Бунин.

– Мне вспомнилась история другой открытки, ставшей вдруг знаменитой, разошедшейся многотысячным тиражом, – сказал Бунин.

– Там, где ты рядом с Шаляпиным и Горьким? – спросил Николай Дмитриевич.

– И с тобой тоже! Там же Скиталец и Чириков! А случилось это все неожиданно. Сошлись мы на завтрак в ресторане «Альпийская роза», что на Софийке. Завтракали весело и долго. Вдруг Алексей Максимович окает: «Почему бы нам всем не увековечиться? Для истории русской словесности». Я возразил: «Опять сниматься! Все сниматься! Надоело, сплошная собачья свадьба».

Николай Дмитриевич добавил:

– Ты еще поссорился со Скитальцем. Он стал тебе нравоучительно, словно провинциальный учитель, выговаривать: «Почему свадьба? Да еще собачья? Я, к примеру сказать, себя собакой никак не считаю. Не знаю, конечно, как другие!»

Бунин продолжал:

– Я вспылел. Отвечаю жестко Скитальцу: «А как же иначе назвать? По вашим же словам, Россия гибнет, народ якобы пухнет с голоду (хотя пухли только пьяницы). А что в столицах? Ежедневно праздник! То книга выйдет новая, то сборник „Знания“, то премьера в Большом театре, то бенефис в Малом. Курсистки норовят „на вечную память“ пуговицу от фрака Станиславского оторвать или авто Собинова губной помадой измажут-исцеляют. Ну а лихачи мчат в „Стрельну“, к „Яру“, к „Славянскому базару“...» Здесь вмешался в спор Шаляпин: «Браво, правильно! И все-таки, Ваня, айда увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы часто, да надо же память потомству о себе оставить. А то пел, пел человек, а умер – и крышка ему». Горький поддержал Федора Ивановича...

Забавно окая, Бунин с привычной ловкостью весьма похоже изобразил Алексея Максимовича:

– Конечно, вот писал, писал – околел.

Пошли в ателье, «увековечились». Всемирный почтовый союз отпечатал с этой действительно исторической фотографии открытые письма.

– Эх! – протянул сладко Бунин. – Слава – как очаровательная женщина, так и манит в свои сети. А сколько знаменитостей побывало в вашем доме: Станиславский, Немирович-Данченко, дядя Гиляй, Короленко, Мамин-Сибиряк, Куприн...

– Пожалуй, в середине ноября следует провести очередную «Среду», и организовывать ее будет Юлий Бунин. Пусть зайдет, мы обсудим программу, – сказал на прощание Николай Дмитриевич.

За окном стояла тревожная ночь...

5

Иван Алексеевич мало выходил из дому, боясь попасть под случайную пулю.

Но добровольное заточение имело и благую сторону. В эти дни он много записывал в дневник:

«30 октября. Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь – тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко – удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута – выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту – раз пять, десять. У Юлия тоже...

Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль – привез двух раненых. Одного я видел, – как его выносили – как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость... Выхода нет! Чуть не весь народ за „социальную революцию“».

Поздним вечером, когда и ходить по улицам стало опасно, кто-то повертел ручку дверного звонка.

Вера осторожно, через цепочку приоткрыла дверь и радостно проговорила:

– Юлий Алексеевич! Приятный сюрприз...

– Пробирался к себе в Староконюшенный, да решил к вам завернуть. Ночного странника чаем напоите?

– Даже водки нальем! – вступил в разговор Иван Алексеевич, вышедший из своей комнаты.

– Не откажусь! У меня новость. Захожу нынче в «Летучую мышь» на спектакль к Никите Балиеву. И вдруг сюрприз: рядом со мной занимает кресло сам... Горький.

Неистощимый на шутки, родоначальник российского конферанса (вместе с элегантным петербуржцем Алексеем Алексеевым), благодаря безграничному веселью и остроумию умевший ловко балансировать на грани рискованного, никогда, однако, не переходя рамки хорошего тона, Никита Федорович еще в 1908 году создал театр-кабаре «Летучая мышь». Его спектакли пользовались неизменным успехом. Любил Балиева и его театр Горький.

– Любопытное известие! – кивнул Бунин. – Да мне-то что от этого?

– Балиев и Горький просили сказать тебе привет, а еще Алексей Максимович добавил: «Очень жажду лицезреть Ивана Алексеевича с супругой завтра на званом обеде. Обязательно приходите!»

– Так не приглашают!

– Утром он сам тебе позвонит.

– А я не пойду к нему. Тем более что завтра я приглашаю тебя, братец, на обед в «Прагу».

Вера наливала в старинную чарку крепкий напиток, изготовленный на заводе знаменитого Н. Л. Шустова.

– Хороша! – крикнул Юлий хрипловатым баском и закусил нежинским огурчиком, крошечным, как детский мизинец, распространявшим дразнящий запах. Потом с аппетитом принялся за гуся, покрытого тонкой розовой корочкой, фаршированного антоновскими яблоками.

* * *

Когда Бунин бывал в Москве, он часто заходил в дом 32, что в тихом Староконюшенном переулке. Дом прятался в густом саду, а в боковом флигеле двухэтажного кирпичного дома жил и много творил Юлий.

Дом принадлежал доктору Николаю Михайлову, издателю журнала «Вестник воспитания». Но всю редакторскую работу тянул безотказный и работающий, как крепкая крестьянская лошадка, Юлий. Водрузив на нос очки в тонкой серебряной оправе, он с утра до ночи сидел за громадным письменным столом. Юлий вникал в рукописи, поправлял гранки, отбирал материал для публикаций, пытался разобраться в обилии только что вышедших сочинений – умных и бестолковых, из которых следовало составить рекомендательный список для чтения.

Когда-то, по молодости и неопытности, Юлий путался с народолюбцами. Став взрослее, решил сделаться заядлым либералом. Он сочувствовал всяким течениям в политике и лите-

ратуре, которые считались прогрессивными. Это отразилось и в программе «Вестника», который ставил своей задачей «выяснение вопросов образования и воспитания на основах научной педагогики, в духе общественности, демократизма и свободного развития личности». Выходил «Вестник» девять раз в год, ибо Юлий справедливо считал: в дни летних вакаций учителя, как и редактор журнала, должны от передовой педагогики отдыхать.

С годами к Юлию пришло разочарование – в человечестве. Он все чаще замыкался в своем узком мирке на Староконюшенном. Брату Ивану он признался:

– Идеи меня интересуют куда больше живых людей!

Педагог-теоретик романтично полагал, что «передовые идеи», даже насильно внедренные, могут сделать людей «более счастливыми». Заблуждение, к несчастью человечества, частое.

Из своего затворничества он охотно выходил лишь тогда, когда приезжал брат. Иван Алексеевич вовлекал братца в круговорот светских развлечений: рестораны с цыганками, вечеринки с танцами под граммофон, литературные собрания с жаркими спорами едва не до мордобития, театры с Собиновым и Шаляпиным – вся сия суета приятно разнообразила скучное сидение за статьями, которые мало кто читал.

Юлий восхищался своим знаменитым братом:

– Иван, ты гордость нашей фамилии. Тебя любит слава. Чует сердце, она вознесет тебя выше всех современников...

– Ну, братец, твоя лесть груба, но приятна! Но за что тебя любит моя Вера, убей – не пойму.

* * *

Сейчас Вера заботливо суежилась:

– Юлий Алексеевич, про соус не забывайте!

– И перцовкой, братец, не брезгуй! Из магазина Смирнова.

Вдруг страшно ударило за окнами, в шкафу задребезжал хрусталь. Юлий не донес до рта рюмку, задумчиво сказал:

– Снаряд, кажется, на Арбате разорвался. Любопытно знать, что же дальше будет?

Бунин, потягивавший чай, грустно поник головой:

– Ничего хорошего не ожидается. В деревне погромы, в городе стрельба, в Европе война... Как говорит Горький, много смешного, но ничего веселого.

Воцарилось долгое молчание.

– Алексей Максимович, думаю, снова уедет в Италию. Прежде мы гостили у него, почему бы... – начала Вера, но Бунин так взглянул, что она осеклась.

Часы глухо пробили час ночи.

– Пора спать! Юлий, оставайся у нас! – предложил Иван Алексеевич.

– Да, и ограбят, и зарежут – плевое по нынешним временам дело. Теперь преступников даже не ищут. К тому же завтра в полдесятого утра должен быть у Сытина. От вас добираться ближе.

Где-то со стороны Воздвиженки дробно застрочил пулемет, кто-то страшным голосом звал на помощь: «Караул!» Наступал новый день большевистской власти.

Утром Бунин спал долго. Разбудил его желтый луч солнца, пробившийся сквозь тяжелые, неплотно задвинутые гардины. Он лежал в постели, не отошедший от сна, наполненный безмятежной радостью ожидания чего-то счастливого, давно желаемого. Но вдруг в памяти

пробудилось воспоминание действительного положения вещей. Так просыпается в тюремной камере заключенный, приговоренный к смерти и заспавший страшную реальность. И тяжелое чувство с двойной силой придавливает обманную радость.

Юлий успел спозаранку уйти к Сытину на Тверскую. Вера проспала уход Юлия. Бунин выбрал кухарку, не согревшую брату чай, а тот, по деликатности, не потребовал. Зазвонил телефон, Бунин снял трубку, услышал грудной голос Катерины Павловны Пешковой:

– Иван Алексеевич, миленький! Приходите к нам сегодня обедать. Мы очень соскучились. Алексей Максимыч очень просит. Сейчас у него беседа с делегацией рабочих от Гужона, но если желаете, приглашу его к аппарату... Что передать? Придете?

Подчеркнуто вежливо Бунин ответил:

– Сожалею, Катерина Павловна, но у меня нынче обед уже назначен, – и дал отбой. Это был отбой всем старым приятельским отношениям.

Он попросил телефонную барышню:

– Дайте номер 17–33!

Вскоре он услышал вкрадчивый баритон Андрея, слуги Юлия:

– Кого прикажете позвать? Ах, это вы, Иван Алексеевич! Юлий Алексеевич, осмелюсь доложить, только что домой пришли, калоши ихние протираю... Сейчас приглашу-с!

Услыхав родной голос, Бунин коротко сказал:

– Братец, жди меня. Пойдем в «Прагу» обедать...

* * *

Бунин, накинув макинтош и надев калоши, вышел из дому. У ворот на маленькой скамейке сидел старый дворник в подшитых валенках. Он тянул вонючую сигарку. Мимо, горячо жестикулируя и продолжая, видать, острый спор, прошли два господина:

– Нет, простите! Наш долг был и есть – довести страну до Учредительного собрания!

Дворник смачно сплюнул и с сердцем сказал:

– В самом деле, до чего довели, сукины дети! До самой ручки...

7

Вдоль Поварской, грозно тарахтя и выпуская клубы дыма, так что Бунин шарахнулся в сторону, проехал броневик. На Арбатской площади стоял набитый дезертирами и прочей шпаной грузовик.

На грузовике размахивал руками не по сезону легко одетый, с оттопыренными красными ушами человек. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощен, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены. Надрывая связки, яростно, со слюной во рту орал в толпу:

– Кровь борцов за свободу торжествует! Иго самодержавия зашаталось и рухнуло! Ура, товарищи! Долой грабительскую войну! Солдат, бей буржуазию, глубже воткни в нее свой штык!

Толпа равнодушно слушала, не выражая ни одобрения, ни возмущения. Лишь вертлявый старик в рваной поддевке, жевавший яблоко, швырнул огрызок под ноги и восхищенно произнес:

– Вот, паразит, язви его мать, языком крутит – ловко!

Оратор, тряхнув давно не мытой головой, азартно выкрикивал:

– Смерть угнетателям! Разотрем пролетарским сапогом гадину буржуазию! Утопим всех эксплуататоров в море крови! Вперед к мировой революции!

Бунин тяжело вздохнул и свернул направо, к Староконюшенному. Позже он писал: «Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики... Грузовик – каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связывалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами».

– Достаточно лишь посмотреть на такого «борца за идеалы», чтобы навеки возненавидеть всю эту шпану – революционеров! – сказал Бунин Юлию.

Тот согласно кивнул:

– Вся эта инородческая братия, пробравшаяся в Москву, уже, кажется, уверилась вполне, что может попить нас, великороссов!

«Передовые идеи» вбивались пролетарским молотом, внедрялись штыком. Они находили горячую поддержку среди черни – дезертиров, не желавших воевать, жулья, выпущенного из тюрем, бродяг и бездельников.

Под горой растет ольха

1

В «Праге» после октябрьского переворота, кроме подскочивших цен, внешне почти ничего не изменилось. Кухня отменная, слуги вышколенные. Но словно над всей прежней легкой и беззаботной атмосферой пронеслось что-то темное, тревожное.

Братья выпили бутылку хорошей мадеры, съели обед и вновь оказались на Арбатской площади. Иван Алексеевич ткнул пальцем в пожелтевшую, чудом сохранившуюся афишку, висевшую на фонарном столбе. Грустно усмехнулся:

– До чего бестолковы чиновники, рвущиеся к власти! Эта бумажка выказывает их полными дураками.

Юлий прочитал:

«Комиссара Государственной думы М. В. Челнокова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В городе были случаи арестов и обысков, произведенные лицами явно злонамеренными. Объявляю, что по соглашению моему с Комитетом Общественных Организаций аресты и обыски могут быть производимы лишь на основании приказов, подписанных комиссаром М. В. Челноковым, командующим войсками А. Е. Грузиновым, председателем Комитета Общественных Организаций Н. М. Кишкиным, начальником милиции А. М. Никитиным. 2 марта 1917 г.».

Иван Алексеевич в первый раз за день улыбнулся:

– Представь: к насмерть перепуганному обывателю ворвались аферисты, суют хозяевам под нос якобы ордер на обыск и выемку. Несчастный обыватель что, графологическую экспертизу проводить будет? Да он не только не знает подписей Челнокова или Никитина, он имена их вряд ли слышал. А вот сочиняли ведь «объявления», печатали, «доводили до сведения». Господи, среди кого мы живем?

Юлий согласно кивнул:

– Большевики и те, кто примазался к революции, шарят по домам, когда им хочется. Говорят, Цетлиных обыскивали. Унесли много ценностей.

– Нынче обыски стали как бы способом обогащения тех, кто втерся во власть.

– Цетлины, положим, богатые люди. У них плантации кофейные и табачные где-то в Южной Америке. А вот когда грабят какого-нибудь несчастного врача или журналиста – это истинное злодейство.

– Журналисты, журналисты... А кто, как не журналисты и литераторы, на протяжении нескольких десятилетий развращали толпу? – гневно сверкнул глазами Бунин. – Прививали ненависть к интеллигенции, к помещикам, призывали уничтожить «проклятых эксплуататоров», восхваляли разгул и анархию... Все это делала злобная пишущая братия.

Юлий решил возразить:

– Конечно, безответственные литераторы были, но сколько и искренних, честных, которые обличали...

– Обличали «язвы и пороки общества»? – скептически усмехнулся Иван Алексеевич. – Те, кто обличал и бичевал, жили припеваючи. И вообще, литературный подход к жизни нас

всех отравил. Ведь это надо только додуматься: всю многообразную жизнь России XIX столетия разбить на периоды и каждое десятилетие определить его литературным героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров... Что может быть наивней, особенно ежели вспомнить, что героям было одному «осмнадцать» лет, другому девятнадцать, а самому старшему аж двадцать! А нынешние оканные дни? Ведь найдется свора борзописцев, которые всячески будут прославлять и «великий Октябрь», и его «достижения». Какого-нибудь Михрютку, дробящего дубинкой антикварную мебель или венецианское зеркало, назовут «провозвестником грядущего».

* * *

Кровавый шар солнца склонялся к чистому горизонту. Воздух холодел все более. Бунин поежился, плотней запахнул пальто. Братья направились к Телешову.

На Арбате сбился народ, кто-то, взобравшись на ящики, кидал в толпу злые реплики. Бунин разобрал: «Долой тиранию!», «Обагрим кровью!», «Смерть буржуазии!»

Громадный матрос мерно размахивал огромным алым полотном. На нем по красному шелку узором серебряного позумента было вышито: «Вся власть Советам!»

Девушка с острым и сухим, как у птицы, носом, на котором блестят стеклышки, зябко кутается в кожаную куртку. Увидав Буниных, хватает Ивана Алексеевича за пуговицу, крутит ее и трещит:

– Вы, товарищи, от Губельского? Что же опаздываете? Сейчас выступают товарищи Луначарский, Циперович и Лозман, затем вы. И сразу же – к Никитским Воротам. Там вас тоже давно ждут... Талоны в столовую не получали? Сейчас выдам...

Братья отмахнулись, заспешили прочь. В городе царило необыкновенное возбуждение. На Тверской улице воздвигали из мешков с песком баррикаду. Свернули влево, к Большому театру, и обомлели, не поверили глазам: солдаты устанавливали крупнокалиберные орудия, спокойно и деловито нацеливая прямой наводкой на гостиницу «Метрополь».

– Смотри, Иван, кто здесь распоряжается! – с удивлением воскликнул Юлий.

– Удивительно, сам Штернберг! Глазам не верю – директор обсерватории, профессор университета – и вот собирается Москву громить!

– Чему удивляться! Он давно связался с этой дурной компанией, был представителем большевиков в Думе. А ты, помнится, знаком с ним?

– Да, лет пятнадцать назад меня представил этому типу старик Златовратский. Отрекомендовал его торжественно: «Исследователь глубин мироздания...» Тот был преисполнен чувства собственного достоинства, поклонился весьма сдержанно, но признался: «Мне нравится ваша поэзия. И мы, кажется, земляки? Я родился в Орле, а у вас в этой губернии фамильное имя?»

– Вот, Иван, видишь, этот «исследователь» сейчас начнет палить...

Вдруг Штернберг, обутый в высокие сапоги, со слоновой неуклюжестью повернул квадратное туловище и заметил Бунина, его насмешливый взгляд. Нахмутив брови и налившись сизой кровью, профессор вдруг разрубил кулаком воздух и озлобленно рявкнул на артиллерийскую прислугу:

– Шевелись! Начальник караула, отгоните посторонних. Нечего тут рот разевать!

Бунин громко презрительно произнес:

– Пойдем, Юлий, отсюда! Вдруг этот астроном прикажет в нас пальнуть из пушки. Профес-сор!..

Штернберг нервно дернулся, но ничего не ответил.

Братья отправились дальше. Недалеко от Никольской башни Кремля уже развернули мощную гаубицу.

Бунин застонал:

– Ох, дождалась – гражданская война... От самых декабристов шли к ней. Почти век.

2

Ночью с 1 на 2 ноября Бунин проснулся от тяжелого грохота. Со стороны Моховой гремели пушечные разрывы, небо озарялось яркими желто-зелеными всполохами.

«Большевики стреляют по Кремлю!» – догадался Бунин, и от ужаса у него враз ослабли ноги. Он привалился в изнеможении на широкий подоконник. С чувством некоторого облегчения разглядел в сером сумраке предрассветного часа головы людей, прижавшихся к окнам противоположного дома. Сознание того, что он не один, что не спит вся улица и наверняка вся Москва, – это несколько облегчало боль.

Из своей спальни прибежала Вера, на ходу путаясь в халате и никак не попадая в рукав, пока Бунин не помог ей. Зацепившись о дверь, с торчащими во все стороны на голове бумажными папильотками, в одной сорочке, влетела, сверкая широкими желтыми пятками, домработница. Из сорочки круглыми мячиками выпрыгивали большие круглые груди с черными сосцами. Она закричала:

– Иван Алексеевич, что ж это такое? Нас убьют!

И вновь сотряс пространство ледящий душу разрыв. Это уже было где-то недалеко, может, на соседней Воздвиженке. Красно-зеленоватый всполох осветил вдруг окно и стену. И снова гроыхнуло, задребезжали, вылетая, стекла, разбиваясь об асфальт. Тело сковывал страх, увеличивавшийся от сознания собственной беспомощности, оттого, что в любой момент дурной случайный снаряд разорвет тебя и близких на кровавые куски, обрушит над твоей головой потолок, снесет стену. И снова ухнуло невдалеке, и снова звенели падающие стекла, и снова Бунин вздрагивал всем телом.

Почему-то вспомнились «Севастопольские рассказы» Толстого: во время пушечной пальбы человек вдруг осознает, что его собственная личность стала занимать его больше всего. «У вас становится меньше внимания ко всему окружающему, и неприятное чувство нерешительности овладевает вами». Как точно описано состояние души!

Бунин размышлял: «Что значит моя смерть по сравнению с теми ужасами, с той кровью, что льется сейчас в Москве! И что будет завтра? А через неделю?»

Вера, кажется, уловила ход его мыслей (это порой самым удивительным образом случилось и прежде). Она уже успела взять себя в руки, прикрикнула на домработницу:

– Что голой крутишься? Ишь, сахарницу отравила! Налей, пожалуйста, полную ванну воды, а то опять выключат. – Повернулась к мужу: – Невероятное варварство – стрелять в городе! Я уже не говорю про людские жертвы – они неизбежны при такой скученности народа. Но сколько прекрасных и редких по архитектуре зданий погибнет! Ведь даже Наполеон, пораженный красотой Москвы, в двенадцатом году в Москве из орудий не стрелял. Почему большевики такие негодяи?

– А мне представляется дикий мужик, ворвавшийся с топором в роскошный дворец, крушащий изящную старинную мебель, дорогой фарфор, прекрасные картины... Этот мужик – распоясавшаяся чернь. Только вооружена она не топором, а гаубицами. И крушить будет не великосветскую гостиную, а все государство Российское...

За окном занималось туманное утро.

3

Штернберг, назначенный по приказу Ленина председателем Замоскворецкого ревкома, уже несколько дней вдалбливал в головы своих красных соратников, которых справедливо считал тупыми и невежественными:

– Ильич прав: нужны самые крутые, жестокие меры! Вы полагаете получить власть без сопротивления буржуазии? Ошибаетесь, власть добровольно еще никто не отдавал. Ильич приказал: врагов революции не жалеть, в плен не брать, уничтожать до последнего! Пусть захлебнутся собственной кровью.

– А как же Кремль? – спросил кто-то робко.

– А что Кремль? – Штернберг выпучил глаза. – Мы разобьем этот древний гадюшник. Заодно, пользуясь случаем, сотрем с лица земли десяток или сотню – чем больше, тем лучше! – домов, что из этого? Большевицкая власть будет созидать новое государство. Я на себя принял командование тяжелой артиллерией. Запомните: наша первоочередная задача – разгромить юнкеров. Эти безусые юнцы – главная опора старой власти в Москве. Юнкера охраняют Кремль? Тем для нас лучше. Сотрем в кровавый порошок этих мерзких выкормышей русской буржуазии...

4

Накануне вечером, бодро покрикивая, подбадривая толстой сучковатой палкой скользивших по обледенелой мостовой владимирских тяжеловозов, красногвардейцы волокли по набережной Москвы-реки две осадные, французского производства, 155-миллиметровые пушки. Остановились невдалеке от Крымского моста. Долго и тщательно, под присмотром невысокого, с щеголеватыми усиками прапорщика, пленившегося большевицкими идеями, устанавливали орудия. Их жерла были направлены в сторону Пречистенки. Там расположился штаб Московского военного округа.

Солдатская кухня где-то задержалась. Поэтому прапорщик, идеалом которого был Суворов и которому казалось, что он испытывает к солдатам отеческую любовь, отдал на приобретение провизии часть своего жалованья, которое не успел отправить своей матушке в Кострому. Отец прапорщика воевал под командованием Брусилова. Он погиб в июле 1916 года во время прорыва австро-венгерского фронта. Так что юный прапорщик стал единственным кормильцем старой матушки и невесты, восемнадцатилетней сироты.

Из соседней лавки солдатик принес несколько колец вареной колбасы и горячих калачей. В ближайшем трактире нацедили большой чайник кипятка – греть нутро.

Перекусив, солдаты стали курить и прикидывать:

– Как лучше, ловчее вышибить юнкеров из Кремля?

– По Кремлю стрелять негоже, – говорил старый, с фиолетовым шрамом на щеке солдат. – Там вить церкви! Вот если бы осадить их на недельку, перекрыть водопровод, так мы их взяли бы измором. Прямо голыми руками, ей-пра!

– Недельку! – криво усмехнулся одноглазый солдат, латавший худые сапоги. – А ежели за недельку им подмога придет? С ими надоть иначе. Вот как долбанем из «маши» да добавим «прасковей»... Только пыль полетит! Красотища!

Пушки почему-то прозвали женскими именами.

Солдат со шрамом презрительно посмотрел на одноглазого:

– Дурак, право! Ты что, в иноземное царство пришел? Ведь это Кремль!

Последнее слово он произнес с уважением. Одноглазый достал из мешка потрепанную гармонь, влез на лафет и задумчиво начал что-то наигрывать. Потом разинул щербатый рот и стал под нехитрую музыку выкрикивать:

Под горой растет ольха.
На горе – крушина.
У мово у жениха —
Полтора аршина!

Солдаты заулыбались, из козых ножек пустили кислый дым. Одноглазый старался:

Если б не было часов —
Не ходили б стрелки.
Если б не было ребят —
Не ломались целки.

На окошке два цветочка —
Голубой да аленький.
Ни за что я не сменяю
Хрен большой на маленький.

Веселье прервал прапорщик, только что получивший сообщение, что на батарею едет высокое начальство:

– Хватит горлопанить! Где прицелы? Где таблицы стрельб?

Одноглазый спокойно слез с лафета, держа под мышкой гармонь, и нехотя ответил:

– Их хрэнцузы, собаки, уволокли.

Прапорщик ахнул:

– Ка-ак уволокли?

– То исть унесли!

– Задержать, найти таблицы! – закричал прапорщик, сам осознавая нереальность этого приказа.

* * *

В этот момент на большой скорости, чуть не зацепив кого-то из артиллеристов, подкаатило авто. Большевики, едва дорвались до власти, сразу же полюбили этот способ передвижения – автомобильный. Не зря Троцкий утверждал, что автомобиль гораздо более действенный признак власти, чем скипетр и держава. Чтобы ездить исключительно самим, большевики с самого начала конфисковали все частные моторы.

Из подъехавшего авто никто долго не вылезал, пока не выскочил шофер и не открыл дверцу пассажиру. Им оказался Штернберг, как всегда мрачный. (Может, он предчувствовал свой скорый конец? Минет всего два с небольшим года, и Бунин прочтет в какой-то одесской газетке, что от воспаления легких скончался видный большевик, известный ученый П. К. Штернберг.)

Поправляя очки в круглой металлической оправе, Штернберг, разговаривавший с подчиненными отрывисто, приказным тоном, минуя прапорщика, обратился к артиллерийской прислуге:

– К стрельбе готовы?

Прапорщик щелкнул каблуками:

– Никак нет!

На волосатом лице Штернберга раздвинулась розовая щель рта.

– Что этим вы желаете сказать?

Прапорщик вытянулся еще больше:

– Прицелы выкрадены врагами революции!

Штернберг молча выслушал, подумал немного и кивнул адъютанту, ловкому малому в черном полушубке с красной повязкой на рукаве:

– Прапорщика за ротозейство арестовать. И расстрелять. – Голос его звучал буднично, едва слышно.

Прапорщика разоружили, промасленной паклей связали сзади руки. Двое конвойных, подталкивая в спину штыками онемевшего от потрясения прапорщика, повели в сторону реки.

Штернберг скомандовал:

– Прислуга, занять свои номера!

Этот сынок выходца из Германии, сколотившего громадный капитал на постройке железных дорог, принял решение стрелять «на глазок». Было ясно, что пристреливаться придется долго и снаряды лягут в густонаселенном районе Москвы. На недоуменные взгляды красногвардейцев рявкнул:

– Не рассуждать! Приказ выполнять! Все номера готовы? Огонь!

Первый же снаряд вlepили поблизости – в дом под номером 4 по Мансуровскому переулку, во владение Надежды Владимировны Брусиловой. Тяжело был ранен ее знаменитый муж – бывший главнокомандующий Юго-Западным фронтом.

Генерал лежал на полу. Он истекал кровью.

И по странному стечению обстоятельств совсем поблизости от Мансуровского переулка, в другом переулке – Турчаниновском двое солдат выполняли боевой приказ. Они завели в небольшой тихий дворик юного прапорщика, чей отец погиб на австро-венгерском фронте, и один из солдат, коротконогий, широкоплечий, не выпускавший изо рта сигарку, неожиданным резким ударом приклада в лоб снес бывшему командиру верхнюю часть черепа. Скособочил рот в улыбке:

– Раз, и брызнул «квас»!

Серая студенистая масса мозгов попала его товарищу на полу шинели. Тот злобно выругался и, вынув из кармана убитого носовой платок, стал вытирать сукно. Потом он еще раз наклонился, отстегнул с руки прапорщика часы, а из нагрудного кармана гимнастерки достал портмоне с деньгами.

– На двоих делим, без обману, – предупредил коротконогий.

Тем временем красный астроном, на глазок прикинув расстояние, скорректировал стрельбу и вновь отдал команду:

– Огонь!

Жерло пушки изрыгло пламень, земля дрогнула, уши заложило. Рушились здания, огонь пожирал постройки, под обломками погибали детишки, их матери, старики.

5

Образцовую прицельность показывал другой отважный красный командир – Николай Туляков.

Невысокого роста, ловкий, подвижный в суставах, он смолоду успел посидеть за карманные кражи в тюрьме. Теперь, хозяйски прохаживаясь вдоль батареи, расположенной на Швиной горке, он бодро отдавал команды артиллерийскому расчету, в котором преобладали унтер-офицеры австро-венгерской и германской армий. Унтер-офицеры были пленными. Их весьма забавляло, что они в своем несчастном положении имеют возможность бить врага – русских, находясь в самом сердце России – в древней Москве.

Вот почему целились особо тщательно и испытывали безмерное наслаждение, выполняя команду «Огонь!». И снаряды хорошо ложились в цель.

Спустя годы бравый вояка Н. Туляков с неуместной хвастливостью вспоминал: «Когда я приехал на батарею, с тем чтобы приступить к обстрелу Кремля, то увидел, что вся батарея пьяна и что нужно ее сменить. Артиллерийский кадр был у нас достаточный, и мне удалось сделать это быстро».

Далее идет красочное и циничное описание, как эффективно действовала его батарея: снаряды летели с большой точностью и в Николаевский дворец, и в кремлевские башни.

Особый предмет гордости красного командира – что вцепил снаряд в часы Спасской башни, которые перестали играть «старорежимный» гимн «Коль славен».

Словно злой демон вселился в этих людей, именовавших себя революционерами. С садистским сладострастием они выпускали на город снаряд за снарядом, хотя давно в этом нужды не было.

* * *

Большевистская разведка еще ранним утром сообщила: «В Кремле контрреволюционного войска нет...» Юнкера уже успели тайком покинуть Кремль.

Штернберг, прочитав донесение, спокойно положил его в боковой карман френча и лишь затем тихим интеллигентным голосом сказал:

– Ну и что? Этот древний клоповник надо разнести в пыль... Огонь по Кремлю продолжать из всех батарей!

Вестовые то и дело докладывали астроному:

– Серьезно разрушена Троицкая башня!

– Точными попаданиями повреждена Спасская!

– Разбита Никольская башня, а также Угловая и Средняя Арсенальная...

– Нанесены повреждения Беклемишевской башне...

– Разбиты алтарная часть и боковые стены собора Двенадцати Апостолов...

Когда около восьми утра большевики без боя вошли в Кремль, разрушения большой силы находили повсюду. Тяжелые снаряды оставили свои губительные следы практически на всех кремлевских соборах. Жалкое зрелище представлял Малый Николаевский дворец. Разорвался снаряд в домовая церковь Петра и Павла, превратив в щепы иконостас великого Казакова.

* * *

Очевидец большевистского преступления епископ Нестор Камчатский писал: «...позор этот может загладиться лишь тогда, когда вся Россия опомнится от своего безумия и заживет снова верой своих дедов и отцов, созидателей этого Священного Кремля, собирателей Святой Руси. Пусть этот ужас злодеяния над Кремлем заставит опомниться весь русский народ и понять, что такими способами не создается счастье народное, а вконец разрушается сама когда-то великая и Святая Русь».

Другой свидетель тех событий – американец Джон Рид. Ленин горячо ратовал за его книгу «10 дней, которые потрясли мир», «от всей души» рекомендовал «это сочинение рабочим всех стран». Иначе как вывихом больного ума это желание объяснить невозможно. Рид обличал большевиков-вандалов:

«„Они обстреливают Кремль“».

Новость эта переходила из уст в уста на улицах Петрограда, зарождая чувство ужаса. Прибывающие из Белокаменной, златоглавой матушки-Москвы рассказывали о страшных вещах: о тысячах убитых, о том, что Тверская и Кузнецкий мост горят, церковь Василия Блаженного представляет собою дымящуюся развалину, Успенский собор разгромлен, Спасские ворота Кремля уничтожены, Дума сожжена дотла.

Ничто из совершенного большевиками до того не могло идти в сравнение с этим ужасным варварством, учиненным в сердце святой Руси. Для верующих пушечный гром звучал как оскорбление, нанесенное святой Православной Церкви, ибо он в прах превращал святыни русской нации...»

Что говорить о чувствах православных людей, когда даже иудей Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения, был потрясен случившимся. Может, потому, что почти два года занимался в Цюрихском университете, жил во Франции и был гораздо развитее большинства своих товарищей по партии, отличавшихся узостью взглядов и удручающей малограмотностью.

На заседании Совета Народных Комиссаров, на котором речь шла о бомбардировке Кремля, Луначарский не выдержал, вскочил с места и крикнул в лицо красным вождям:

– Какой вандализм! Какое преступление! Я не могу выносить этого... – и с рыданиями бросился вон из зала.

Тогда же газеты опубликовали его письмо, в котором он заявил о выходе в отставку: «Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется.

Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы.

Что еще будет? Куда идти дальше?

Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилён. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из Совета Нар. Комиссаров.

Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше».

Впрочем, пройдет совсем немного времени, и красный комиссар остудит свой гнев. Он найдет какие-то оправдания действиям товарищей по партии и бодро замарширует в общем большевистском строю.

6

– Какое бесстыдство – восхвалять «социалистическую революцию», которая якобы принесла «счастье трудящимся»! – возмущался Бунин.

Он мрачно курил, часами сидя в глубоком кресле, почти не выходил из дому, мало кого видел и вот теперь нервно комкал в руках горьковскую «Новую жизнь».

Вера молча слушала, иногда вздыхая, и бережно вытирала влажной тряпкой сухие шуршащие листья пальм, стоявших в громадных приземистых кадучках.

– Что было? – продолжал Иван Алексеевич, стряхнув пепел под пальму. – Было могущественное Российское государство. И могущество это создавалось трудами многих и многих поколений. Чтили Бога, уважали прошлое. Материальное изобилие было исключительным, какое не снилось ни Англии, ни Германии, ни Карлу Марксу с Фридрихом Энгельсом.

Кучка авантюристов, называющих себя политиками, свергла монархию. А что дали взамен? Убогое правительство Керенского, которое постоянно демонстрировало свою беспомощность, не в состоянии было предотвратить захват власти большевиками, вскормленными на германские деньги.

И вот теперь под интернациональные лозунги (но вовсе не российские!) идет разгром и разграбление всего нашего государственного дома, неслыханное братоубийство. И кошмар этот тем ужаснее, что он всячески прославляется, возводится в перл создания...

Вера поставила на журнальный столик чашечку:

– Ян, выпей кофе...

Бунин, не замечая жены, порывисто встал. Он начал привычно, наискось расхаживать по комнате – от рояля к угловому окну. Вдруг остановился и, словно открывая для себя что-то новое, с изумлением произнес:

– Ведь в революциях совершенно не было нужды!

Вера, осмелившись, встала:

– Для России – не было...

– Вот именно – для России! Да, были в нашей жизни неполадки, но государство, несмотря на недостатки, цвело, росло, со сказочной быстротой развивалось и видоизменялось во всех отношениях.

Бунин подошел к столику, отпил уже начавший остывать кофе, спросил рюмку коньяку.

– Когда-то меня поразили своей точностью слова Ключевского. Он сказал, что конец Русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда померкнут лампы над гробницей Сергия преподобного, закроются ворота его лавры.

Я с ужасом вижу: жуткое пророчество ныне сбывается. Что такое бить из пушек по святым стенам Кремля? Это и есть загасить лампы отеческого духа, сознания себя великой нацией. Этот разгром старинных церквей – крест на могилу русской государственности. И кто совершил это неслыханное со времен Орды злодеяние? Кучка негодяев, среди главарей которых русских почти не найти. Впрочем, когда народ одумается, осознает всю преступность свершившегося, тогда и этим жалким отщепенцам будет отказано в праве называться русскими. Но сейчас миллионы людей стерпели, старухи плачут, мужики бранятся, интеллигенция скорбит: «разрушены кремлевские святыни!...» Но что мешает этим миллионам растереть в порошок кучку негодяев-разорителей?

– Ты же знаешь, что большинство ничего не доказывает!

– Да, еще Герцен говорил, что десяток конвойных этапируют в Сибирь несколько тысяч колодников. Вот я и скорблю, что кучка вооруженных разбойников из нас, свободных россиян, сделала колодников!

– А на что же теперь нам надеяться?

– Как – на что? На домового.

– Какого такого домового?

– Того самого, про которого писал в своей «Деревне». Собрался народ возле кабака в кучу, ну, мужики, девки семечки лузгают, гармонь наяривает, частушки выкрикивают. Кузьма недоуменно спрашивает Меньшого:

«– Что это народ веселится, с какой такой радости?

– Да это они надеются...

– На что?

– На домового».

Вот и нам остается надеяться лишь на домового. Большевики молодцы. Они дело свое знают. Солдатам мир обещают, крестьянам землю, морякам воду, несогласным с ними – удавку. Средство у них универсальное – страх. Мы сидим и боимся. Ведь любой убийца ворвется в дом, перестреляет нас, и никто с него за это не спросит. Это и есть «революционный порядок».

– Может, уехать в Питер? Андреева мне говорила, что там сейчас спокойнее...

– Сейчас спокойнее на Гавайских островах, только никто там нас не ждет. Вчера у газетного киоска я столкнулся с доктором Манухиным. Он получил письмо от Зинаиды Гиппиус. Та пишет, что в Питере царит большевистский произвол, тюрьмы забиты, офицеров и юнкеров расстреливают десятками, облавы, обыски. Свет и газ выключили, телефон не работает.

И, сев рядом на диванчик, они обнялись и надолго погрузились в безрадостные думы.

7

Зинаида Гиппиус, зябко кутаясь в шубу в своей нетопленной петроградской квартире, записывала в дневник:

«27 октября. Невский полон, а в сущности, все „обалдевши“, с тупо раскрытыми ртами... Захватчики, между тем, спешат. Троцкий-Бронштейн уже выпустил „декрет о мире“. А захватили они решительно все.

Возвращаюсь на минуту к Зимнему Дворцу. Обстрел был из тяжелых орудий, но не с „Авроры“, которая уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо, говорит, если б не холостыми, то Дворец превратился бы в развалины. Юнкера и женщины защищались от напирających сзади солдатских банд, как могли (и перебили же их), пока министры не решили прекратить это бесплодие кровавое. И все равно инсургенты проникли уже внутрь предательством.

Когда же хлынули „революционные“ (тьфу, тьфу!) войска, Кексгольмский полк и еще какие-то, – они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести – то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба... Нет, слишком стыдно писать...

Но надо все знать: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали...

Только четвертый день мы под „властью тьмы“, а точно годы проходят...

Сейчас льет проливной дождь. В городе – полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели да погромщики. Наиболее организованные части большевиков стянуты к окраинам, ждя сражения. Вечером шляется во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками. А весь „временный комитет“, т. е. Бронштейны – Ленины, переехали из Смольного... не в загаженный, ограбленный и разрушенный Зимний Дворец – нет! а на верную „Аврору“... Мало ли что...

Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает... не хочу и определять, что именно, однако очень много и, между прочим, ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ».

Бесноватых рать

1

Подслеповатый, с интеллигентным доброжелательным лицом литературовед Айхенвальд, автор знаменитых литературных портретов – «Силуэты русских писателей», сидел в квартире Бунина и ел картофельный суп. Его привел Юлий. Айхенвальд ел жадно, тщетно стараясь унять дрожь в руках.

Оправдываясь, сказал:

– По ресторанам ходить не люблю, а в лавках теперь ничего купить не умею. Моя кухарка куда-то сбежала, взяв «на память» все столовое серебро. Ну а я сижу на пище святого Антония.

– Этот святой питался лишь акридами и водой, – отозвался Юлий Алексеевич.

– Ну и я тоже...

– Так ноги таскать не будете! – сказала Вера. – Наша кухарка – суший клад. Ее брат мясником служит на колбасной фабрике братьев Елисеевых, в лавке для рабочих покупает. Вот кушайте, пока горячее...

– Сударь, водочки примите. – Бунин заботливо наполнил рюмку. – Перцовая – замечательное средство от простуды, а у вас, вижу, насморк. Я готов кормить вас до той поры, пока большевиков не прогонят. Это мой гонорар за хорошую статью в «Силуэтах».

– Ну, Ян, тебе недорого обойдется такая щедрость, – улыбнувшись, сказала Вера. – Уже через две-три недели большевиков как ветром сдует.

Юлий согласно кивнул:

– Пограбят, покуражатся и разбегутся. Покажи, пожалуйста, новинку! Итак, третий том «Силуэтов», вышел в московском издательстве «Мир». Верочка, почитайте нам, пожалуйста!

Вера взяла в руки увесистый том, ощутила свежий запах типографской краски.

– Герцен, Карамзин, Жуковский, Языков, Горький, Бальмонт, а где Бунин? Вот он, сердечный, на странице сто тридцать четыре! Итак, «на фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошее старое. Она продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты. Счастливо-старомодный и правоверный, автор не нуждается в „свободном стихе“; он чувствует себя привольно, ему не тесно во всех этих ямбах и хореях, которые нам отказало доброе старое время. Он принял наследство. Он не заботится о новых формах, так как еще далеко не исчерпано прежнее, и для поэзии вовсе не ценны именно последние слова. И дорого в Бунине то, что он только – поэт. Он не теоретизирует, не причисляет себя сам ни к какой школе, нет у него теории словесности, – он просто пишет прекрасные стихи. И пишет их тогда, когда у него есть что сказать и когда сказать хочется. За его стихотворениями чувствуется еще нечто другое, нечто большее – он сам».

– Браво! – восхитился Юлий. – Как точно, какой изящный стиль.

Иван Алексеевич, слушая лестные слова, тихо посмеивался. Айхенвальд, кажется, мало обращал внимания на этот разговор. Он с аппетитом уписывал телятину с картошкой.

– Главное – в истинности слов, в точности формулировок, – поправила деверя Вера. – Но, господа, позвольте продолжить чтение. «Его строки – испытанного старинного чекана; его почерк – самый четкий в современной литературе; его рисунок – сжатый и сосредоточенный. Бунин черпает из невозмущенного кастаньского ключа. И с внутренней, и с внешней стороны его стихи как раз вовремя уклоняются от прозы; скорее он ее сделал поэтичной, скорее он побеждает прозу и претворяет ее в стихи, чем творит стихи, как нечто особое, от нее отличное. У него стих как бы потерял свою самостоятельность, свою оторванность от обыденной речи, но

в то же время из-за этого не оплошался. Бунин часто ломает свою строку посередине, кончает предложение там, где не кончился стих; но зато в результате возникает нечто естественное и живое...»

– Юлий Исаевич, а вам какие стихи Ивана нравятся более? – спросил Юлий Бунин.

Айхенвальд с видом сытого человека откинулся на спинку стула, вытер салфеткой рот. Прикрыл глаза. После паузы:

– «Зов», – и начал на память читать, чуть шепелявя:

Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое...

Иван Алексеевич, внимательно слушавший, вдруг сильным чистым голосом подхватил:

И сети зыбких вант; как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски, —
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать – в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду.
В родные гавани вовеки я не вниду,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана:
Да чутко встану я на голос Капитана!

– Если мир – море и правит его кораблями некий Капитан, то среди самых чутких к Его голосу, среди ревностных Божьих матросов находится и поэт Бунин... – закончил Айхенвальд.

Бунин молчал. Думал он о своем, о безрадостном... О том, что много месяцев почти ничего не может писать. Жизнь выбивала из колеи. Неужто это все, неужто исписался весь?

– В шестнадцатом году для горьковского «Паруса» я дал свои стихи, – сказал Бунин. – Вот, послушайте:

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз...
Жара, страда... Куда летит
Через усадьбу шалый пес? —

Это я написал, сидя в Васильевском, оно же Глоотово. Помню, вышел из усадьбы, спустился с взгорка к пруду. Наш священник сидит, рыбу ловит. Знаток этого дела, так и клюет у него. «Пропитание! – смеется. – Девчонкам моим на уху».

Семья у него большая, и все девчонки рождались.

Я присел рядом на поваленное дерево. Долго молчали, следя за игрой поплавок. Вдруг, без связи, священник произнес: «Загудит скоро набат, ни рыбу ловить, ни сеять, ни жать некому будет...»

Мурашки пробежали у меня по спине. Я сам в тот момент думал о том ужасе, который, чувствовал, скоро придет на нашу землю. Тогда же написал стихотворение:

Вот рожь горит, зерно течет,
Да кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И, как Мамай, всю Русь пройдет... —

Вдохновение снизошло на меня. В то лето стихи так и лились, случилось, что в день писал два-три.

— И твоя поэзия удивительным образом предсказала грядущее. Увы, сбылось пророчество, — тихо проговорила Вера. — Бесноватых встала рать, дым валит.

Юлий нарочито бодро заговорил:

— Не спорю, поэты — лучшие предсказатели. Не хуже мадам Ленорман. У них, видать, прямая связь с Создателем. И все же нельзя теперь судить о русской революции беспристрастно.

— О какой беспристрастности говорить можно? — поморщился Бунин. — Настоящей беспристрастности не было и не будет. Для убийцы и грабителя сейчас самое счастливое время. Большевики будут прославлять свой переворот и все эти ужасы.

— Только с годами полностью проявится картина.

— Когда от Руси останутся рожки да ножки? — резко возразил Бунин. Чувствуя, что его горячность задела деликатного Айхенвальда, спокойней добавил: — Есть единственный оселок, на котором исторические деяния проверять должно: польза для России и, стало быть, для ее граждан. Так не может быть: государству хорошо, а гражданам плохо. Теперь революционеры разбудили дремавшего хама, который Русь и унижает, и разрушает. Для меня, повторю, ясно одно: русский бунт всегда бессмыслен. И жаль, что мы посетили мир в «его минуты роковые». Тютчев о них с восторгом писал. А уж какие в его время были «роковые минуты»? Тишь да благодать, аж зависть берет.

2

Вскоре после ухода Юлия и Айхенвальда в городе вновь началась стрельба — частая, ожесточенная. Палили со стороны Кудринской площади. Со стороны Моховой несколько раз ухнула пушка.

Но к полуночи все смолкло, даже ружейной стрельбы почти не было. Только однажды истошный женский голос совсем поблизости звал: «Помогите! Караул! Помогите...» Крик жутко оборвался на высокой ноте. Вера нервно оглянулась на окно.

Бунин вскочил с постели:

— Нет, не могу оставаться! Пойду заступлюсь...

Вера мертвой хваткой вцепилась в него:

— Не пушу! Убьют!

Он бросился к телефону — позвонить в полицию, но телефон опять не работал.

Почти до рассвета ворочался в тяжелой бессоннице. Поднялся, когда в церкви отзвонили к обеду.

Вера, уже хлопотавшая вместе со служанкой над завтраком, сразу же сообщила:

— Вчерашние крики помнишь? Оказалось, бандиты изнасиловали, а потом зверски убили сестру милосердия, только что вернувшуюся с германского фронта. Ее спутнику, военному доктору, штыком выкололи глаза.

– Р-р-революция! – прорычал Бунин. – Такие же ублюдки, как эти убийцы, ныне решают судьбы России.

Он помолчал и с горечью добавил:

– Мне страшно, что подобное насилие творится над моей родиной. Увы, я могу лишь посылать бандитам проклятия, но не в состоянии изменить ход событий.

* * *

В окно било тяжелым снегом. Он лип к стеклам и стекал тонкими струйками.

– Ян, ты уж без крайней надобности на улицу не показывайся! – сказала Вера.

Бунин насмешливо покачал головой, смиренно завел глаза:

– Будем, как преподобный Алимпий.

– Кто?

– А это в седьмом веке был такой подвижник. Он на столпе подвизался, шестьдесят шесть лет с него не сходил. Что стоит нам месяц-другой посидеть дома? Придет Лавр Корнилов или другой генерал (у нас их уйма!), турнет большевиков. Запломбируют в вагон главарей – всех этих Лениных – Бронштейнов – и отправят обратно в Германию.

Бунин было потянулся к папироснице, лежавшей на столе, но Вера посмотрела на него так жалобно, что он вздохнул и курить не стал, забарабанил пальцами по столу.

– Мы-то можем дома посидеть, – сказала Вера, – а вот не пожалуют ли к нам в гости товарищи революционеры?

– То-то и оно!

На этой нелегкой теме разговор было замолк, но минуты через две Бунин не выдержал, добавил:

– Смолodu я всякое испытал – несчастную любовь, унижающую бедность. Со всякой жизнью умею примириться. Но не умею свыкнуться с мыслью, что в любой момент могут ворваться пролетарии и мозолистыми трудовыми руками всадить нам в животы штыки. И они будут правы: согласно большевистской логике, необходимо уничтожить всех буржуев.

Вера замахала руками:

– Господь с тобою, Ян! Не нагоняй жуду.

– Сама заговорила об этом. И потом, с другими уже случилось, вот и сестра милосердия... А мы – буржуи, вполне для большевистской плахи подходим. Под «буржуями» Ленин понимает, прежде всего, российскую интеллигенцию. Ее труднее всего одурачить или запугать. Она вечная оппозиция правителям. Большевики знают, что захватили власть незаконно. Вот почему они не потерпят ни малейшей оппозиции.

Вера испуганно посмотрела на иконостас, перекрестилась.

* * *

Бунин отправился в ванную комнату – бриться-умываться. Через мгновение послышались его чертыхания: в водопроводной трубе зашипело, упало несколько ржавых капель, и на этом вода закончилась.

Вера полила из графина. Он кое-как привел себя в порядок и пошел завтракать. Пил чай, читал газеты, принесенные истопником.

Вскоре в столовой появилась Вера. В руках она держала французскую книгу.

– Взыскуешь истины? – иронически улыбнулся Бунин. – Послушай, что Горький пишет в «Новой жизни»: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия... Рабочий класс не может не понять, что Ленин

на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть... что из этого выйдет?»

– Браво! – хлопнула в ладошки Вера. – Как честно и смело обличает злодеев Алексей Максимович!

Бунин укоризненно покачал головой:

– Ну-ну! «Честно и смело...» Наконец-то очухался! А когда привечал и Ленина, и его разбойничью братию – о чем тогда думал? Ведь к тому, что сейчас творится, и твой любимый «буревестник» причастен. Но послушай дальше. – Он вновь взял газету – номер за седьмое ноября, водрузил на нос очки и продолжил: – «Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат...» – Окончательно впадая в гнев, Бунин взмахнул газетой. – Да, расплачиваться придется этому самому «пролетариату». А если, не приведите господа, большевики удержатся у власти, то они обязательно и самому «буревестнику» свернут шею!

Вера поспешила перевести разговор на другую тему, раскрыла книгу:

– Я прочитала, еще Наполеон говорил: власть – это пирог, которым надо накормить всех, кто к этому пирогу прорвался.

– В Смольном уже вовсю делят этот пирог: должности, особняки, кабинеты, царские сервизы, секретарш...

3

Смольный после переворота жил напряженной жизнью. Задача была невероятно трудной: как, уцепившись за власть, удержаться за нее.

Беспрерывно шли совещания, заседания, летучки, собрания. Воздух был прокурен. Лица давно не высыпавшихся людей приобрели серо-зеленый цвет, обросли щетиной, глаза воспалились, воротнички стали грязней половой тряпки.

Начальники восседали за громадными столами. Рядом густо стояли уголовные типы Ломброзо – с низкими лбами и мрачными лихорадочными взглядами, ожидавшие команд, распоряжений, приказов. Телеграфные машины выплевывали ленты срочных сообщений. Машинистки отстукивали бессчетные декреты. Носились курьеры. Самыми частыми словами стали «срочно» и «совершенно секретно».

Хотя большевистская власть утвердилась лишь в Питере (да и то относительно), главари переворота спешили делить теплые места. В кабинете горячо любимого вождя шло очередное – но самое важное! – совещание. Вокруг разместились сподвижники.

Задумчиво почесывая худосочным пальчиком рыжеватую плешистую голову, добро и устало улыбаясь, Ленин прокартавил:

– Дорогие товарищи! На повестке дня – серьезный вопрос: следует дать новые названия государственным органам и распределить министерские портфели. Как по-революционному назовем министров?

На помятом лице вождя вдруг вспыхнули острым интересом глаза. Закинув голову назад и чуть склонив ее к левому плечу, сунув пальчики куда-то под мышки за жилет, – любимая поза! – Ленин оглядел сообщников:

– Гм-гм! Какие соображения? Яков Михайлович, у вас есть соображение?

Все весело улыбаются незатейливой шутке, а Свердлов неопределенно хмыкает. Дзержинский что-то рисует на клочке бумаги, а Сталин вытряхивает пепел из трубки. Его некрасивое узкое лицо, глубоко изъеденное оспой, серьезно и спокойно.

Каменев вопросительно смотрит на Ленина:

– А почему бы все-таки не оставить прежнее название – министры? Звучит солидно, привычно...

– Нет и нет! – взмахивает короткой ручкой Ленин. – Только не министры. Это гнусное, истрепанное название.

– И вполне буржуазное! – поддакивает Зиновьев.

– Отвратительное название! – кивает Свердлов.

– Старых министров мы расстреляем, а новых не будет! – вдруг смеется Ленин. – Чем больше покойников, тем крепче революционный порядок.

Все весело хохочут, глядя в рот, в котором блестит золото коронок. Не смеются только Сталин и Дзержинский.

Вдруг Троцкий поднял руку:

– Хорошо бы назвать комиссарами...

Ленин нервно стучит карандашом по чернильнице:

– Комиссары, комиссары... Что-то много нынче развелось комиссаров.

Дзержинский перестает рисовать хвостатых чертей и задумчиво произносит:

– А если «верховные комиссары»?

Все молча обдумывают предложение.

Голос подает Сталин:

– Может, лучше «народные комиссары»?

Троцкий тут же отзывается:

– Правильно, я тоже хотел предложить это – «наркомы». Только так!

Ленин задумчиво теревит бородку:

– Как вы сказали, Лев Давидович? «Наркомы»? Не очень изящно. Да ладно, привыкнут! Пусть «народные», вы правы, Лев Давидович, это звучит демократично. Все – за? Прекрасно! Секретарь, запишите! А как назовем правительство в целом?

Сталин вновь предлагает:

– Совет комиссаров...

Троцкий подает насмешливый голос:

– А сокращенно как – «совком»? Совками дети в песочнице играют.

Все хохочут, больше всех Ленин и Троцкий. Сталин нахмурился, на узком лице только желваки играют.

– Я знаю, – решительно говорит Троцкий, резко обрывая смех. – Назовем так: Совет Народных Комиссаров – Совнарком.

Все молча смотрят на Ленина. Тому хочется спать и есть. Он вскидывает голову к левому плечу и согласно произносит:

– Пусть так – Совнарком! – Он обводит глазами, красными от недосыпа, присутствующих и опять вскидывает голову к плечу. – Лев Давидович, браво! Вот мы вас и сделаем первым наркомом – внутренних дел. Это сейчас важнейшее!

Дзержинский согласно кивает:

– Правильно! Борьба с контрреволюцией сейчас самое важное.

– Характер у тебя, Лев Давидович, крутой, справишься! – лукаво усмехается Зиновьев.

Троцкий отрицательно качает головой, и его свояк Лев Каменев уговаривает:

– Уверю, что лучшего министра внутренних дел нам не найти!

Каменев женат на Ольге Давидовне, сестре Троцкого. У них есть милейший мальчуган, которого они зовут нежно – Лютик. Пройдет немного времени, и эта славная семейка въедет на жительство в приведенный в порядок после бомбардировки Кремль. Здесь же, по соседству, поселятся Луначарский и популярнейший поэт и обладатель громадного собрания редчайших книг Демьян Бедный. Будут жить во дворцовом коридоре, прозванном Белым. Охранять их

станет несколько постов часовых. Охранять от народа, в любви к которому они всю жизнь клялись, но который они ненавидели и которого боялись.

Каменев продолжает:

– Лев Давидович, соглашайся! Не справишься – поможем!

– Главное, без слюнтяйства, – советует Дзержинский. – Буржуазное происхождение – уже преступление. Среди них много умников развелось. Надо защищать пролетарскую революцию.

Ленин вдруг заговорщицки хихикает:

– А у нас революция пролетарская?

Все разом смеются. Больше всех заливается сам Ильич. Смеется и Крупская, которой только сегодняшним утром муж сделал нахлобучку за то, что на заседаниях красных вождей она по бабьей глупости лезет все время вперед. Переживая теперь ужасные мучения, она молчала все совещание – как рыба. Но теперь не выдерживает, задорно и неожиданно для всех кричит:

– Мы раздуем огонь на весь мир! Как дважды два... Да здравствует мировая революция!

Новый взрыв хохота. Все любят Надежду Константиновну, хоть она немного глуповата. Но Крупская – настоящая большевичка. И отличный – гораздо сильнее Ильича! – организатор.

– Против мировой революции не спорю, но этот пост не займу! – решительно заявляет Троцкий. Он отлично понимает его паскудность. В стране разруха и бандитизм, которые – легко догадаться! – станут в ближайшем будущем лишь увеличиваться. Так зачем ему нужна эта головная боль?

– Почему вы не цените наше доверие? – вдруг строго спрашивает Ленин.

– Я ценю. Однако я еврей.

– Ну и что? – запыхтел Ленин. – Тут почти все евреи сидят. Так их и наркомками не назначать? Один глупый еврей стоит больше, чем два русских умника.

– Умоляю вас, Владимир Ильич! Внутренние дела – такой участок, что с еврейской национальностью никак нельзя. Давайте Сталина назначим.

Троцкий откровенно недолюбливал Сталина, справедливо подозревая его в антисемитизме. Вот теперь он хотел поставить его на собачью должность, на которой он свернет себе шею.

– Нет, Сталина нельзя! – вмешался Зиновьев. – Он большевик честный, но у него характер слишком мягкий.

Ленин согласился:

– Наш грузин – чудесный человек, но слишком либеральный. К тому же я хочу поставить его к важному делу – руководить национальными делами.

Все согласно закивали: должность незаметная, на нее никто не претендовал.

В разговор вмешался Рыков:

– Назначим Льва Давидовича наркомом путей сообщения – это тоже ответственный участок.

Ленин уперся на своем:

– Нет и нет! Лев Давидович должен служить нашему делу с максимальной пользой. Лучшего организатора по борьбе с саботажем и контрреволюцией – принципиального и жесткого – нам не найти. По сравнению с этой задачей ваше еврейство, Лев Давидович, сущий пустяк!

– Дело-то, быть может, великое, да дураков в России пока хватает! – спорит Троцкий.

– Да разве мы должны по дуракам равняться? – кипятится Ленин.

– Равняться не равняться, а маленькую скидку на глупость россиян делать необходимо. Зачем нам эта головная боль?

Вдруг поднялся Сталин:

– Мнение народа учитывать надо, в этом товарищ Троцкий абсолютно прав. – Голос его звучал спокойно и убедительно. – Зачем с самого начала осложнения? И так говорят *про*

вас, что германские шпионы. И еще, что октябрьский переворот – дело всемирной еврейской мафии.

Все неловко замолчали. Лишь Ленин сердито зыркнул глазами:

– Мы собрались здесь, товарищ Сталин, вовсе не для обсуждения буржуазной болтовни и контрреволюционных сплетен, за которые надо ставить к стенке без суда и следствия.

– Это не просто болтовня, – произнес Сталин. – Пока в мире существует капитализм, существуют порожденные им нации. Стало быть, существует национальная рознь. Не учитывать это – значит впадать в эйфорию. – Сталин не спеша огляделся и медленно продолжал: – Когда мы добьемся полного равноправия всех наций? Лишь тогда, когда ликвидируем национализм и национальную вражду. К сожалению, процесс этот сложный и очень долгий. Наше поколение, как справедливо заявляет товарищ Ленин, будет жить при коммунизме. Но увидит ли наше поколение исчезновение национальной розни? Очень сомневаюсь. Так что товарищ Троцкий абсолютно прав: с национальным вопросом пока считаться надо.

Сталин медленно, с чувством собственного достоинства опустился в кресло.

Ленин, криво усмехнувшись, с иронией бросил:

– Спасибо, товарищ Сталин, за интересную лекцию. Но прежде чем ликвидировать национализм, нам надо ликвидировать наших многочисленных врагов. Иначе... – И он красноречиво провел ладонью перед своим горлом.

В разговор вступил Свердлов. Из его плоской груди то и дело рвется сухой кашель.

– Пусть Троцкий – кх, кх, кх! – берет иностранные дела... кх, кх...

Троцкий удовлетворенно хмыкнул, а Ленин по-бычьему опустил голову, взглянул исподлобья:

– Интересно, какие у нас иностранные дела?

Троцкий поддержал:

– Они у нас есть, Владимир Ильич. Вы меня можете спросить: об чем тут думать, если вот-вот пролетарии всех стран объединятся и старому миру придет фэртиг? И тогда я вам отвечу: пока такое не произошло, надо подумать об том, чтобы с мировой буржуазией иметь отношения. Дипломатические.

Ильич крепко задумался. Он прищурил левый глаз, а правым взирал меж растопыренных пальцев то на Троцкого, то на Свердлова. Не зная этой особенности вождя от сей манипуляции впадали едва ли не в обморочное состояние – от ужаса. Дело было просто: один глаз у Ильича был близоруким, другой дальнозорким. Пальцами он корректировал зрение. Правду сказать, никто не умел объяснить это. И лишь по смерти вождя вскрытие разъяснит эту невинную привычку.

Вскрытие многое объясняет.

Ленин сообразил, что Свердлов и Троцкий говорят дело. Ближайшая задача – подписание срамного договора с Германией и – необыкновенное дело! – полная капитуляция перед практически стоящим на коленях врагом. Троцкий это дельце обтяпает ловчее других. Ленин улыбнулся:

– Убедили! А с контрреволюцией мы будем бороться все вместе, не считаясь с ведомствами и национальными принадлежностями.

* * *

Так Лев Давидович встал во главе советской дипломатии – ровно на три месяца. Столько времени понадобилось для того, чтобы подписать Брестский мир. Тот самый, который заставил покраснеть всех честных россиян.

Каждый получил от праздничного пирога то, что ему причиталось.

В итоге председательствовать Всероссийским Центральным Исполкомом досталось Льву Каменеву. После недолгого правления, за отсутствием минимальных способностей, эту должность он был вынужден передать Свердлову. Рыков стал наркомом внутренних дел, Сталин – наркомом по делам национальностей, Дзержинскому было приказано беспощадно искоренять саботаж и контрреволюцию.

Ленин возглавил партию-победительницу. Он все более влюблялся в Троцкого, прилюдно, во время горячих дебатов в партийном комитете Петрограда 1 ноября, воскликнул:

– Право, нет лучше большевика, чем Троцкий!

Так уж вышло, что их кабинеты разместились в противоположных концах Смольного.

– Может, нам установить сообщение на велосипедах? – шутил вождь. – Будем друг к другу в гости ездить...

Но пока что, семена жидкими ножками, Троцкий несколько раз в сутки пускался в путешествие – на совещание к Ленину. Молодой здоровый матрос, недавний анархист и приятель такого же анархиста – матроса Железняка, наводивший ужас своими похождениями на весь Петроград, именовался «секретарем Ульянова-Ленина». Матрос почти без перерывов едва ли не рысью носился меж двух начальнических кабинетов.

Ленин отправлял записки, начертанные мелкими неудобочитаемыми кудряшками и снабженные многократными подчеркиваниями наиболее важных мыслей – двумя или тремя линиями. Часто эти записки содержали проекты декретов, требовавших неотложных отзывов.

Троцкий поправлял и дополнял текст нежно любимого друга и вождя. Он кидал документ на край громадного стола. Матрос, всегда стоявший во время своих визитов у дверного проема (присесть его никогда не приглашали), хватал записку и устремлялся к другому вождю.

Во время заседаний Совнаркома, которые проходили ежедневно и длились не менее пяти-шести часов, Ленин сажал Троцкого рядом с собой. Пока выступали ораторы, у этой пары завязывалась горячая беседа. Троцкий ласково называл вождя Ильичем, а тот его по партийной кличке – Перо.

Уже в первые недели дипломатической деятельности Троцкого Ленина весьма заинтересовала его «война с башней Эйфеля».

– Что, злые передачи ведут французы? – спрашивал вождь.

– Истекают ядом. Всякую мерзость – про вас, Ильич, про Надежду Константиновну, про меня... Обзывают аферистами и местечковым жульем. Досадно, что на русском языке – ведь у многих умельцев есть радио. Я хорошо знаю журналистский стиль Клемансо. Уверен, что это его статьи передают в эфир.

– А в нашем распоряжении царскосельская башня. Дайте сдачи...

– Даю! Самолично говорю в эфир. Все равно не унимаются. Про наши интимные отношения распинаются.

– Нажмите, Перо, на Нуланса. По агентурным сведениям, сплетни распространяются из французского посольства. Попробуйте найти с ним общий язык.

* * *

Через три дня состоялась встреча Троцкого с посланцем Нулансом. Хотя оба разговаривали по-французски – один на дурном, другой на природном, – но общего языка найти не сумели. Отказался Нуланс и от щедрого подарка – «дань признательности свободолюбивому французскому народу» – от кофейного сервиза, прежде принадлежавшего Николаю II.

Тогда Лев Давидович предпринял наивную попытку действовать через генерала Ниссея, начальника французской миссии. Тот был вызван в Смольный и разговаривал с красным вождем, как строгий учитель с нашкодившим мальчишкой.

Троцкий был взбешен. Он направил в посольство письмо. Среди других было требование: «Приемник-передатчик беспроволочного телеграфа из миссии устранить!»

В торжественной обстановке, при свидетелях из Красной гвардии передатчик был выдворен из миссии и затем – из пределов большевистского государства. Вместо категорического Нисселя в Петроград прибыл щеголеватый и вкрадчивый генерал Лавернь. Но бдительность Троцкого этими переменами усыпить не удалось.

Нарком позже утверждал: «Французская военная миссия, как и дипломатия, оказалась вскоре в центре всех заговоров и вооруженных выступлений против советской власти. Но это уже развернулось открыто после Бреста...»

Ах, эти коварные, хоть и «свободолюбивые» французы!

4

В те дни, когда большевики дорвались до власти, австрийский министр иностранных дел граф Черни, находясь в Вене, живо интересовался событиями в России. Он писал одному из своих друзей: «За последние дни я получил надежные сведения о большевиках. Вожди их почти все евреи с совершенно фантастическими идеями, и я не завидую стране, которой они управляют».

Подобные наблюдения сделали не только представители «компетентных органов», но и самые простые обыватели. Из всех потайных щелей лезли к октябрьскому пирогу разные темные личности, аферисты всех мастей. Одни прибывали сюда из-за границы, другие из тюрем, причем никто особенно не интересовался, за что там сидел новобранец революции – за «экспроприацию», убийство или растление малолетних.

Лучшей рекомендацией было утверждение, что новобранец – «идейный враг буржуазии», готовый уничтожать ее днем и ночью. Как и всякой революции, великому Октябрю требовались люди жестокие и беспринципные, ненавидевшие свою страну и своих сограждан. Шансов отличиться было больше всего у типов с уголовной психологией.

Вчерашние изгои, поднявшиеся к власти разных уровней – от ЦК партии до сельских комбедов, – они вполне искренне ненавидели прошлое – и свое личное, и всей России. И в то же время любыми средствами, чаще всего кровавыми, отстаивали свое новое положение: возможность распоряжаться не только чужим имуществом, но и чужими жизнями; сидеть в удобных кабинетах, пользоваться безотказной любовью секретарш и актрис; распределять блага среди родных и знакомых; устраивать на теплые местечки детишек и родственников.

Но чтобы легче насаждать новое, следовало как можно быстрее уничтожить память о прошлом.

* * *

Бунин с недоумением обнаруживал на вывесках грязные пятна. Сначала он не понял суть дела, но, вчитавшись, разглядел замазанные слова: «поставщик двора», «императорский», «высочайший» и прочее.

Зато повсюду торчали кумачовые флаги, под дождем и снегом быстро линявшие и превращавшиеся в тряпки.

– Поругание на семьдесят семь лет! – повторял Бунин слова, услышанные на Трубе. – Нет, нашей жизни не хватит...

Времена и впрямь наступали страшные, апокалипсические.

Боже, царя храни!

1

Когда-то в молодые годы Бунин неустанно торопил время. Будущее всегда рисовалось заманчивыми красками. Впереди маячили новые радости, новые встречи, новые влюбленности и выход новых книг. Но наступало это будущее, остывали амурные страсти, недолго радовали уже вышедшие книги, и счастье таяло, как тонкий иней под июльским жаром.

Когда перевалило за сорок, Бунин произнес с некоторым удивлением:

– Да ведь это не время, это сама жизнь уходит. Может, и впрямь прав Толстой: лучшего времени, чем настоящее, никогда не бывает?

И, осознав, что новые радости и новый успех приобретаются лишь в обмен на прожитые годы, он более никогда не погонял свою жизнь.

Но уже несколько месяцев Иван Алексеевич, как миллионы других россиян, с нетерпением ожидал великого события – Учредительного собрания!

Собственно, отказ государя от трона и последующие события шли под лозунгом созыва этого собрания. Казалось, после февраля семнадцатого года идея собрания из эфемерной и теоретической обязана воплотиться в жизнь. Никто против «учредиловки» не возражал. В первом же «Обращении к народу» (2 марта 1917 года) председатель IV Государственной думы Родзянко и все правительство во главе с князем Львовым провозгласили о «немедленной подготовке к созыву на началах всеобщего, равного и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны».

К будущему Учредительному собранию обратился и великий князь Михаил Александрович. Он отверг наследие брата Николая II – российский трон. Впрочем, не совсем отверг, а заявил, что примет верховную власть лишь в том случае, если «будет такова воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского».

Министры всех составов – социалисты, кадеты, октябристы и прочие – при вступлении в должность подкрепляли присягу клятвой «принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок».

Спустя много лет, находясь уже в Париже, секретарь Учредительного собрания Марк Вишняк признавал: «Идея неограниченной учредительной власти, принадлежавшей совокупности суверенных граждан и осуществляемой ими по своему усмотрению, получила широкое распространение благодаря европейским теоретикам – Локку, Пуффендорфу и Вольфу».

Бессмысленные съезды различного рода – профессиональных, общественных, национальных и иных организаций составляли постановления с выражением преданности Учредительному собранию, «хозяину земли Русской». Им вторили официальные органы Православной церкви. Даже армия присягала на верность Временному правительству лишь до вступления в силу Учредительного собрания.

Столицы и захолустные городишки, фабричный люд и селяне, левые, умеренные и даже большевики – все с единодушием и энтузиазмом принимали будущий верховный законодательный орган.

2

– Нет, все-таки Учредительное собрание – это наша единственная надежда, – говорил Станиславский, у которого собралась шумная компания.

Было 4 января восемнадцатого года. Актеры, писатели, художники отмечали день рождения Константина Сергеевича. Правда, сам «малый» юбилей – пятидесятипятилетие мэтра был на следующий день, но по предложению супруги юбиляра, Марии Петровны, решили праздновать накануне, ибо в театре был свободный день. После спектакля, как собирались прежде, это было неудобно: слишком опасно стало появляться на улице в поздний час.

Вот и пришли к Станиславскому засветло. Спорили и говорили все о том же – об Учредительном собрании, которое начнется завтра в Петрограде в Таврическом дворце.

– Пусть это станет концом кровавого большевизма и началом новой великой России! – провозгласил Бунин, и все осушили бокалы а-ля фуршет.

Константин Сергеевич с пониманием кивнул и пророкотал своим чудным, бархатным голосом:

– Согласен с вами, Иван Алексеевич. Учредительное собрание – это, думаю, единственно возможный и оставшийся в нашем распоряжении путь к восстановлению демократии... Вы согласны с нами, Иван Михайлович?

Вопрос к Москвину был адресован неспроста. Гордость Художественного театра и лучший исполнитель роли царя Федора Иоанновича в пьесе А. К. Толстого в этот момент с излишней горячностью спорил со скульптором Коненковым. Дискуссия была актуальной: водки чьих заводов лучше – Шустова или Смирнова?

В разговор вступил Шмелев, ставший знаменитым после своего «Человека из ресторана»:

– Простите, что вмешиваюсь. Большую для меня тему затронули. Я внимательно нынче газеты читаю, слишком много разговоров об одном и том же: Учредительное собрание, Учредительное собрание...

– Иван Сергеевич, вы не правы! – улыбнулся Бунин. – Иван Михайлович с Сергеем Тимофеевичем с аппетитом говорят о более насущном...

– Не смейтесь, Иван Алексеевич! Какие могут быть шутки, когда большевики захватили власть и с каждым днем узурпируют ее все более? Неужели вы думаете, что делают они это лишь для того, чтобы законней провести это собрание и провозгласить демократическую республику?

– Она уже провозглашена! – вставил слово Станиславский.

Москвин закончил мудрой сентенцией:

– Для почину выпить по чину! – Что и было сделано.

– Третьего сентября уходящего революционного года свершилось неслыханное надругательство над идеей Учредительного. Гражданин Керенский самолично присвоил себе права собрания и провозгласил Россию республикой...

– Не монархию же, а республику, – заметил Коненков.

– А делать этого все равно не стоило! Лишь Учредительное собрание уполномочено на это...

– Вы, Иван Михайлович, безусловно, правы! – Станиславский хотел ужинать, а политические споры ему всегда претили. – Большевики назвали окончательную дату созыва собрания – пятого января. Вот завтра еще раз республика и будет декларирована.

Шмелев нервно дернул головой и резко отчеканил:

– Большевики власть не отдадут – ни Учредительному собранию, ни эсерам – никому!

Бунин скептически улыбнулся:

– Как это – не отдадут? Ведь выборы двенадцатого ноября обеспечили большинство мест в «учредиловке» не им, а эсерам!

Москвин еще раз блеснул замечательной памятью:

– За эсеров отдали голоса пятьдесят восемь процентов избирателей, а за большевиков лишь двадцать пять.

Шмелев возмутился:

– Каждый пятый одобряет кроважанных ленинцев! Это и удивительно, и возмутительно.

– Да, русского человека понять невозможно, – кивнул Станиславский.

Шмелев продолжал:

– Впрочем, количество ничего не решает. Беда в другом: с оружием у сторонников демократии во все времена было хуже, чем у экстремистов. Один пулемет говорит убедительней тысячной толпы.

– Но повсюду созданы комитеты в защиту Учредительного собрания. Даже ко мне приходила депутация, и я поставил свою подпись.

Шмелев невежливо расхохотался:

– Ну, Константин Сергеевич, если подпись... То оно конечно.

В этот момент, покинув женщин, весело щебетавших на угловом диванчике, подлетела Книппер-Чехова:

– Господа спорщики! Не стыдно ли забывать дам ради каких-то глупостей?

Коненков галантно поцеловал Ольге Леонардовне руку:

– Отнюдь нет! Помним вас и любим.

– Тогда прощаем.

– А я расскажу анекдот... политический, – со смехом щелкнул пальцами изящный, почти хрупкий, с моноклем в правом глазу Алексеев.

Все с интересом обратились к нему:

– Сделайте одолжение, Алексей Григорьевич, расскажите!

– Троцкий лег спать, но предупредил часового: «Разбуди ровно в шесть утра!» Назначенное время пришло, вождь революции дрыхнет, а красногвардеец ломает себе голову, как бы деликатней разбудить вождя. «Господин» – нельзя, «товарищ» – страшно, какой он «товарищ» красному вождю? Аж вспотел, потом махнул рукой, влетел в спальню и во все горло заорал: «Вставай, проклятьем заклейменный!»

Все рассмеялись.

3

В гостиной появилась задержавшаяся из-за неловкости горничной Мария Петровна, жена Станиславского. А неловкость эта заключалась в том, что она сожгла новое платье хозяйки, сшитое за громадные деньги у самого Жоржа и в котором Мария Петровна желала быть на сегодняшнем приеме. По этой причине у Марии Петровны было скверное настроение, и стоило больших усилий скрывать досаду и раздражение.

Ей пришлось надеть черное шелковое платье с глубоким декольте и опоясанное выше талии серебряным плетеным пояском, то самое, в котором она – о, ужас! – уже справляла Новый год. Она знала, что это платье выгодно подчеркивает ее по-девичьи стройную фигуру, обрисовывает женские прелести, и это Марию Петровну несколько утешало. Когда она появилась в гостиной, блестя глянцем волос и со вкусом подобранными бриллиантами, все потянулись к ней. Мужчинам она подставляла руку для поцелуя, дамам умела бросить комплимент по поводу их платья или прически и при этом привычно следила за гостями: все ли идет согласно ритуалу, не скучают ли дамы, не слишком ли громко спорит Немирович-Данченко со Шмеле-

вым, почему излишнее оживление вокруг конференсье Алексея Алексеева – приличное ли он рассказывает?

Когда Бунин подошел к Марии Петровне, та радушно улыбнулась и почти с искренним восхищением произнесла:

– Поздравляю, Иван Алексеевич, с новой книгой! Вчера весь вечер наслаждалась чтением.

– Какой именно? – полюбопытствовал Бунин.

– Ну, в красном переплете. Называется «Избранные рассказы». Изумительный рассказ «Числа». Я была тронута до слез.

И хотя книга была давно не новой, да и рассказ назывался не «Числа», а «Цифры», и Бунин был уверен, что хозяйка дома вовсе не читала и все эти восторги были обязательной приправой и полагались в нужной дозе, как соус к мясу, он вежливо благодарил ее, приложившись к маленькой легкой кисти.

Неслышно появился камердинер в высоких белых чулках и что-то сказал, почтительно склонившись к Марии Петровне. Она громко произнесла:

– Messieurs et mesdames, прошу к столу!

Не прерывая беседы, гости ручейком потянулись в большую залу – здесь был накрыт ужин. Свет громадной хрустальной люстры весело отражался в тарелках саксонского фарфора, в хрустале бесчисленных рюмок, фужеров, бокалов, подставках приборов, целой батарее вин, водок, коньяков, ликеров.

* * *

Уже полтора десятилетия Станиславский снимал у некоего Маркова роскошный особняк под номером 4 по Каретному Ряду. Он был о двух высоких этажах с антресолью и большим балконом.

Десяток его комнат хозяева обставили с возможной роскошью – мебелью красного дерева, зеркалами в резных рамах мореного дуба, картинами западных мастеров прошлых веков, громадными фарфоровыми вазами, уходящими под высоченный потолок шкафами со старинными книгами, гравюрами на стенах. Обстановка располагала к неге и высоким творческим порывам.

Несколько комнат на первом этаже были отведены челяди – камердинеру и его семье, кухарке, повару с женой, горничным, дворнику, кучеру, истопнику, сторожу. Самая сухая и теплая комната предназначалась старому слуге Василию, неутомимо шаркавшему ревматическими ногами по всему дому и строго следившему за порядком. Он знал Станиславского малым ребенком. И по сей день Василий почитал долгом поджидать хозяина в прихожей, отворяя ему двери и помогая снимать шубу.

Во времена стародавние, когда Алексеевы – родители Константина Сергеевича – жили в доме 8 по Садовой-Черногрязской и маленький Костенька собирался в 4-ю гимназию, что располагалась в знаменитом «доме-комод» Апраксиных на Покровке, Василий, тогда еще молодцеватый парень с белокурой гривой волос, неизменно норовил надеть барчуку калошки:

– Что из того, что сухо? Погоды нынче переменчивые. Набежит дождик, ножки и промочите.

С той поры минуло полстолетия, но Василий, полысевший и согнувшийся, каждый раз подходил в прихожей к Станиславскому и, протягивая калоши, требовательно произносил:

– Вы уж, барин, наденьте калошки...

– Да, нынче погоды переменчивые, – улыбался Станиславский.

– Ишшо какие! – Василий предпочитал не замечать иронии барина. – Скверные погоды...

Так что позвольте, я вам калошки как раз надвину. Ботиночки лаковые, попортите...

Когда Бунин впервые увидел Василия, то не удержался:

– Фирс, убей меня бог, настоящий Фирс из «Вишневого сада».

Эта кличка так и осталась за Василием, любившим вспоминать «правильные времена», то есть времена, давным-давно ушедшие, крепостные.

За домом шел большой сад. Летом, в хорошую погоду, тут устраивались репетиции, публичные чтения и, конечно, ужины. Под тенистыми сводами беседок здесь пили шампанское Александр Блок и Федор Шаляпин, Евгений Вахтангов и Максим Горький, Мстислав Добужинский и Айседора Дункан.

* * *

Тонко звенели бокалы, мягко стучали по тонкому фарфору серебряные ножи и вилки, пенилась заздравная чаша. В канделябрах потрескивали, взвывая тонкие струйки дымок, десятки свеч (электрические лампы в начале застолья погасли). Выпили за здоровье новорожденного, за хозяйку, за Художественный театр, за Учредительное собрание.

– Господи! – перекрестился Бунин. – Мы отдыхаем, как в наивные прелестные времена наших дедушек и бабушек, во времена кринолинов, дуэлей, картежников, гусаров-усаечей, когда уланы носили мундиры с ранжевými отворотами, а желание юных дворян служить в кавалерии можно было сравнить лишь с безумной страстью к женщинам и отваге.

– И кутежи по три дня без отдыха! – вдруг раздался могучий голос.

Все повернули головы.

Дверной проем занимала гигантская фигура общего любимца – Владимира Алексеевича Гиляровского, дяди Гиляя. Этот человек словно нарочно появился на земле, чтобы испытывать себя опасностями и приключениями. Природа наградила его чудовищной силой. Уже в гимназическом возрасте он легко сгибал пятаки и ломал подковы. В четырнадцать лет «взял» из берлоги первого своего медведя. Через три года, бросив богатый дом отца, бежал бурлачить на Волгу. Дружил с ворами и бандитами. И в то же время принят в самых аристократических салонах. Статьями Гиляровского о социальном «дне» зачитывалась вся Россия.

– Ну, кутить и мы умеем! – рассмеялся Бунин. – Пить и гулять да других забот не знать! Это наше, российское, так сказать, родовая черта.

– За стол, за стол! – заворковала Мария Петровна, усаживая Гиляровского на почетное место – возле юбиляра.

– Пусть выпьет вначале штрафную! – скомандовал Коненков. – Уж будьте любезны, дядя Гиляй!

– Владимира Алексеевича и литровый кубок не испугает! – залился хохотом Москвин. – Вон какой удалец, прямо витязь с картины Васнецова. И годы не берут!

– Обратите внимание, Владимир Алексеевич, какой славный стол у Марии Петровны! – вступил в разговор художник Симов, успевавший расправляться с ароматными громадными раками, запивать их пивом и одновременно со всем этим делать наброски гостей на кусочках белого картона, лежавшего у него между тарелок. – Тут хлеба не достанешь, а нам праздник закатали!

– Особенно луковый суп, ах, духовитый! – восторгнулся Москвин. – Секрет знаете, Мария Петровна?

– Не я, – улыбнулась польщенная похвалой Мария Петровна. – Это наш повар. Надо умело спассеровать лук, подобрать хорошие томаты...

Бунин поднялся с бокалом белого вина:

– И все же, господа, я хочу сказать тост. Виктор Андреевич, этот даровитый художник, правильно подметил: в наше трудное время – и суметь столь щедро принять друзей! Я гляжу на этот необъятный и заманчивый стол, заставленный бутылками с разноцветными вод-

ками, винами, ликерами, на смугло-телесный балык, на нежную, тающую во рту семгу, на этих гигантских раков. И что же, господа? Ведь все это остатки роскоши прошлой, добольшевистской России: сильной, гордой, непобедимой! Выпьем за нашу Россию, чтобы вновь вернулись ее бывшие богатства и могущество! А главное – чтоб всех Троцких – Лениных с позором выпроводить с нашей земли.

– Вернуть Германии как вредный груз! – сказал Москвин.

Все подняли бокалы и рюмки, с чувством осушили их.

– Славный тост! – проговорил Шмелев, отламывая изрядный ком от блестевшей жирной глыбы паюсной икры. – А теперь, дамы и господа, товарищи и беспартийные, самое время спеть... Вас не затруднит, Александр Тихонович, сесть за рояль? – обратился он к опоздавшему к началу обеда композитору Гречанинову, ученику Римского-Корсакова и Аренского.

– Что прикажете играть, Иван Сергеевич?

– «Боже, царя храни!», чего же еще...

Гречанинов хмыкнул, но за рояль сел. Взял бравурные аккорды вступления. Станиславский побледнел и закусил губу. Москвин улыбнулся. Симов выпил уважаемой им водки Шустова и закусил маслиной. Шмелев, Алексеев, Гиляровский, Коненков, а затем Немирович, Бунин и еще кто-то грянули:

Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам!
Царь православный!
Боже, Боже, царя храни!

Смолкли последние аккорды. Станиславский для чего-то раза два-три заглядывал в окна. Теперь он вздохнул и раздраженно-вибрирующим голосом проговорил:

– Зачем такие выходы? Мало с плеч голов полетело? На улице слышно, да и прислуга, глядишь, того...

Гречанинов заиграл мелодию арии из своей популярной оперы «Добрыня Никитич» и стал вполголоса напевать, пытаясь сохранять интонации ее лучшего исполнителя – Шаляпина.

Бунин не без насмешки поддакнул:

– Это вы, Константин Сергеевич, конечно, правы! Много голов полетело. И куда больше полетит. Только большевики убивают не за российские гимны, не за заговоры даже. Убивают просто так, ради садистского удовольствия. Ибо знают, что эти преступления сойдут без наказания. Разве преданы виселице за все свои жестокости Троцкий или какой-нибудь Зиновьев? Нет, за пролитие крови их ждут большевистские награды и слава и еще... эта... как ее... якобы «всемирная любовь». Да, деяния революционеров сопровождаются цинизмом и резонерством: «Слава труду, смерть буржуям!» «Буржуи» – это все, кто не принимает участия в убийствах. Преступникам всегда выгодно втянуть в свою шайку побольше соучастников – делить ответственность. А людей порядочных – запугать, затюкать, чтоб ничей голос против кровавого царства не поднимался! Ибо запуганные, молчащие – это тоже соучастники.

Бунин на мгновение остановился и уже спокойно закончил:

– Кстати, последний раз я пел «Боже, царя храни!» будучи гимназистом в Ельце. Раз нас не сумели утратить, стало быть, мы не рабы и не соучастники революционных преступлений...

– Да, мы заговоры не устраиваем, – успокаивающе проговорил Гиляровский. – Иван Алексеевич прав: за песни в ЧК не водят.

Но его слова звучали неубедительно. Все враз смолкли. Даже вилки больше не стучали. Бунин демонстративно громко позвал лакея:

– Принеси белого вина...

Коненков повернулся к Станиславскому:

– Давно хочется в ваш театр сходить, еще раз «Трех сестер» посмотреть.

– Милости просим! Как раз послезавтра спектакль...

– Ваш Вершинин – удивительный! – искренне восхитился Гиляровский.

Но вновь воцарилась тишина. Настроение было как-то нарушено. Только Гречанинов одним пальцем наигрывал какую-то мелодию да, заскрежетав, зашумев колесами, начали отбивать время громадные напольные часы.

4

Казалось, вечер распался, разладился окончательно. Однако находчивая Мария Петровна напомнила о юбилее любимого в артистической среде петербургского ресторана «Вена» – радушного приюта артистов, писателей, художников.

– Виктор Андреевич преподнес владельцу «Вены» Соколову его портрет, – молвил, воскресая, Станиславский.

Симов, изрядно захмелевший, застенчиво отмахнулся:

– Что – я! Ему картины дарили прекрасные мастера – Репин, Зарубин, Поленов, Клевер...

– Ну, не скромничайте, – проворковал Станиславский. – Ваши декорации в Художественном просто чудо!

– Оформление «На дне» – подлинный шедевр! – воскликнул Москвин. – Ведь все мы за впечатлениями тогда ходили в поход в хитровские ночлежки! Дядя Гиляй организовал этот спуск в преисподнюю.

Станиславский улыбнулся:

– И еще от гибели спас. Виктор Андреевич, расскажите, как нас хотели убить.

Симов, без удовольствия вспоминая о давней истории, замахал руками:

– Сто лет прошло, забылось изрядно... Пусть Владимир Алексеевич расскажет, – кивнул Симов на стоявшего у рояля Гиляровского.

– Согласен, но лишь в дуэте с Константином Сергеевичем. Вы начинайте, я продолжу.

– Прекрасно! – неожиданно согласился Станиславский. – Восемнадцатого декабря девятьсот второго года на сцене Художественного играли мы премьеру «На дне».

– Триумфально играли! – бросила реплику Книппер.

– Может быть, но суть в другом. Еще шли только репетиции, Владимир Алексеевич однажды пришел на репетицию и возглашает: «Господа артисты! Живого восприятия ради айда на знаменитую Хитровку, обиталище воров, бандитов и проституток!»

И вот отправились мы к Яузе, на Солянку. Дело шло к вечеру, спускаемся вниз. Ощущение – словно погружаешься в гнилую шевелящуюся яму.

– Да, это целое царство, – добавил Гиляровский. – Царство злых духов. Тут и торговки обедками, и трактиры, и нищие перемешались с барышниками, скупщики краденого с убийцами и беглыми каторжниками.

Станиславский напомнил:

– Мы попали в эти трущобы, когда там шла облава. Искали беглых убийц. А эти беглые, как выяснилось позже, охотились на нас...

– «Хорошо прикинутых фраеров», – уточнил Гиляровский. – Еще накануне, в воскресенье под вечер, я ходил на Хитровку. Отыскал дом Степанова, поднялся на второй этаж в квартиру номер шесть. Толкнул ногой дверь. В лицошибанул дымный смрад. Вдоль стен – сплошные нары. Люди валялись и на нарах, и под ними, прямо на грязном, заплыванном полу.

Кругом – шум, гам, ругань, хохот, пение, озорные крики. Я здесь бывал несколькими годами раньше. Тогда здесь жили грамотные люди. Они зарабатывали себе на кусок хлеба переписыванием театральных ролей.

Вот и теперь я встретил двух знакомцев. Объяснил, что завтра со мной придет сам Станиславский с несколькими актерами и художниками.

На другой день вся наша компания появилась в этой преисподней. Мы дали пять рублей на водку и колбасу. Радость хозяев была неопишущей. Начали пир.

Босяки нас спрашивали: «Почто вас сюда занесло?» Мы отвечали, что хотим поближе, своими глазами увидеть ночлежную жизнь. Нужно нам это для новой пьесы Горького.

«Надо же! – изумились босяки. – Только что в нас интересного? Чего такую рвань на сцену тащить?»

Выпили водки. Наши персонажи размечтались: «Вот когда выберемся отсюда, когда опять сделаемся людьми...»

Наш дорогой Симов, как и сегодня, усердно делал зарисовки. Позже они очень пригодились. Спектакль был оформлен точно под эту трущобу.

Гуляем вовсю. Хозяева от водки багровеют все больше. Беседа делается весьма громкой. Какой-то оборванец орет на Симова: «Нешто это мой потрет? Пачиму у мене одна щека черная? Где она у мене такая? Где? Гляди!»

Голоса слились в споре. А тут я от своего знакомого хитровца получаю секретную информацию: убийцы, бежавшие с каторги, готовятся нас грабить и «мочить». Для них нож в спину воткнуть – дело плевое.

– Тайной владели только вы, Владимир Алексеевич! – с восхищением воскликнул Станиславский.

– На меня бандюга с бутылкой бросился, кличка у него выразительная – Лошадь, – проговорил Симов.

– Спасибо эрудиции Владимира Алексеевича! – улыбнулся Станиславский. – В адрес бандитов, уже нас окруживших, Гиляровский своим громоподобным голосом гаркнул пятиэтажную брань. Ее сложная конструкция ошеломила ночлежников. Они так и присели от восторга чувств и эстетического удовлетворения. Владимира Алексеевича и прежде здесь уважали. Гениальное ругательство увеличило его славу, а нам спасло жизнь.

– Ну нет, жизнь Симову сберег некий блудный сын предводителя дворянства, угодивший в трущобу. Это был громадный и очень сильный человек. Он перехватил руку с бутылкой.

– Одним словом, вы были спасены на благо и процветание российской культуры! – не без легкого ехидства заметил Шмелев.

Эта реплика развеселила гостей, подогрела. Принесли еще шампанского.

– Вот уж точно, как в мирное время, – сказал Бунин сидевшему рядом Шмелеву.

– Пир во время чумы! – негромко отозвался тот.

Станиславский, заканчивая воспоминания, с удовольствием потер свои большие мягкие руки:

– Да, спектакль «На дне» имел потрясающий успех. Вызывали без конца – режиссеров, актеров, художника.

– Аплодисменты были громовые, – добавила Книппер. – И море цветов! Помните, Константин Сергеевич, вас и Качалова зрители порывались нести на руках.

– Но и вы, Ольга Леонардовна, превосходно сыграли Настю, – ответил Станиславский.

– Ах, какой был Барон в исполнении Качалова! – с восторгом продолжала Книппер.

Москвин поднял бокал шампанского:

– Выпьем, друзья, за первых исполнителей пьесы Горького, за тех, кто вписал славы страницы в историю Художественного театра, – за Лужского, Вишневого, Бурджалова,

нашего скромного Симова. И за большого друга нашего театра – Алексея Максимовича, за всех!

Пирующие с чувством осушали бокалы, говорили друг другу лестные слова, обнимались, с восторгом целовались – чисто по-русски.

5

Бунин с легкой скептической улыбкой усмехнулся:

– Да, за Алексея Максимовича выпить следует. Особенно за его дружбу с Лениным. Кристальный человек! И на той давней премьере он вел себя отменно. Всем памятно, как на требования публики – «Автора!» – Горький небрежной походкой вышел к рампе. В зубах он держал дымящуюся папироску. Зрителям не поклонился. Из зала раздались свист и шиканье. И поделом! Людей надо уважать.

– Ну, Иван Алексеевич, это вы лишнее... – вступился Станиславский. – У Горького эта неловкость получилась от смущения, от неопытности...

– Ах, извините, упустил из виду, что этот воспеватель российской рвани отличается застенчивостью непорочной институтки. А история с Ермоловой? Тоже от неуместной стеснительности?

– Ну и от недостатка воспитания, – вздохнул Станиславский.

Бунин поднялся со стула, уперся взором синих глаз в мэтра:

– В Ялте, на одном из людных вечеров, я видел, как сама Ермолова – великая Ермолова и уже старая в ту пору! – поднялась на сцену к Горькому. Она преподнесла ему чудесный подарок – портсигар из китового уса. Горький, не обращая на нее внимания, мял в пепельнице папироску. Он даже не взглянул на актрису. Ермолова смутилась, растерялась. На глаза у нее навернулись слезы:

– Я хотела выразить вам, Алексей Максимович, от всего сердца... Вот я... вам...

Горький по привычке дернул головой назад, отбрасывая со лба длинные волосы, стриженные в скобку, густо проворчал, словно про себя, стих из Ветхого Завета:

– «Доколе же ты не отворишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

И он, всем своим видом показывая равнодушное презрение к знакам внимания, засунул по-толстовски пальцы за кавказский ремешок с серебряным набором, который перетягивал его темную блузу. Вот вам и «великий буревестник»! Накликал он со сворой своих эпигонов, разных Андреевых и Скитальцев, бурю на Россию...

Все надолго замолчали. Слова Бунина были справедливы. Наконец Коненков примиряюще произнес:

– Горький с Лениным вроде теперь поссорились.

– Теперь-то Алексей Максимович понял, чем перевороты кончаются, – сердито сказал Шмелев.

– Нынче он всю клеймит «кровавые преступления большевизма», – усмехнулся Алексеев, расправляясь с громадным омаром. – Понятливую девку учить недолго.

– Пошло дело на лад, и сам тому не рад, – не удержался, вставил Бунин.

Станиславский замахал руками:

– Господа, господа! Прошлого не вернешь. Надо приспособливаться к обстоятельствам. Предлагаю тост за Учредительное собрание! Ждать осталось меньше суток.

– И так все ясно! – уверенно сказал Москвин. – Большинство населения России отдали голоса за партию эсеров...

– Так что править Россией будет партия, провозгласившая своей политикой террор? – воскликнул Коненков.

– Все они, «идейные борцы», террористы, – буркнул Иван Алексеевич. Станиславский постучал ножом по бокалу, требовательно повторил:
– Господа, я уже предложил выпить за Учредительное собрание!
– Ну, если на посошок! – согласился Шмелев. – Счастья вам, Константин Сергеевич.
– Спасибо! Но времена грядут страшные. Послезавтра, перед спектаклем, даже собираем труппу. Тема собрания – «О переустройстве театрального дела в связи с тяжелой и ненормальной жизнью». До чего дожили!
Гости потянулись к выходу. Лакей Василий, шаркая по паркету, поднес Бунину пальто.
– Почему мне, дорогой Фирс? – наклонился к лицу Василия Бунин.
– Ты, золото, человек необычный! – важно и громко ответил слуга, но от чаевых не отказался.

6

Шмелев вызвался отвезти Бунина на Поварскую: – Мои кони – звери!
Путь ближний, дорога наезжена. Кони под рукой опытного кучера неслись птицей. И все же седоки успели немного поговорить.
– Станиславский очень напуган, – сказал Бунин. – Чует сердце, нас ждет нечто ужасное. А кругом поразительное: почти все до идиотизма жизнерадостны. Кого ни встретишь, сияют благодушием, улыбаются. С ума, что ли, посходили?
– Завтра поворотный день, – медленно произнес Шмелев. – Может судьбу на десятилетия определить. Куда весы качнут... А вы, Иван Алексеевич, мой должник.
– ?
– Я у вас раз пять гостевал, а вы у меня дома ни разу не были. Приезжайте завтра, покажу старинные рукописные книги. Попьем чайку, посудачим. Я живу на Малой Полянке, угловой дом с Петровским переулком – номер семь, телефон – 464-81.
Они пожали друг другу руки.

* * *

Впервые за последние дни пошел снег. Крупные снежинки медленно падали в безветренном воздухе. Кругом царила глубокая тишина. На первом этаже зеленовато светились окна: Вера ждала мужа.

Шмелев вдруг произнес, словно высказал заветное:

– Революция взбаламутила государство, поднялась со дна всякая нечисть. По вкусу им пришелся лозунг: «Грабь награбленное». Лодыри остервенело ненавидят талантливых и предприимчивых. Голытьба согласна стать еще беднее, лишь бы не было богатых. Их мечта – все вокруг нищие.

Бунин вздохнул:

– Да-с! Это мне анекдот напомнило, который рассказал Аверченко. Вытащил старик золотую рыбку, а та взмолилась: «Отпусти меня, старче! Я сделаю все, что ты захочешь. Но только помни: твоему соседу будет в два раза больше». Старик тут же наказал: «Сделай так, чтоб у меня глаз вытек!»

Собеседники немного развеселились. Где-то часы пробили полночь.

Для России начался новый день – роковой.

Убийство на Болотном рынке

1

Утром Бунин проснулся рано. Состояние духа – это как ртуть в термометре. Упав до самой низкой отметки, она ниже не опускается. Может только повышаться. Вот и сегодня, воспрянув от ложа, он почувствовал если не душевный подъем, то все же какое-то умиротворение.

Ополоснулся, за неимением другой, ледяной водой, долго растирал свое красивое тело махровым полотенцем. Особенно изящны, как с классической скульптуры, были руки и плечи.

Когда жена принесла ему с кухни завтрак, то Бунин, уже успевший раскрыть том Толстого, воскликнул:

– Послушай: «Бог дал мне все, чего может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего». Это «Маркер». До чего все это приложимо к нашему положению! Бог дал России бесконечные земные просторы, богатые недра, талантливый народ... И вот ныне все затоптано в грязь!

– Это поправится, Ян. Вот сегодня Учредительное...

Бунин взорвался:

– Да что вам всем это собрание! Я, конечно, понимаю, что прикованный к тачке каторжник лелеет в душе надежду на помилование. Большевики приковали к тачке всю Россию, всех нас сделали каторжниками...

– Но Учредительное...

– Что – Учредительное? Ну придут к власти не большевики, а эсеры. Что изменится? Будут те же грабежи и убийства. Народ – не весь, а в худшей своей части – распоясался, озверел. Все эти революционеры сознательно будили его темные инстинкты.

* * *

За окном занималось новое утро. С улицы раздались грубые голоса. Там явно над чем-то потешались. Потом тишину раннего утра разрезал выстрел, другой. И все это сопровождалось птичьим клекотом и диким, грубым хохотом осипших глоток.

Бунин осторожно выглянул в окно. Несколько пехотных солдат в серых грязных шинелях стреляли в ворон. Мертвые птицы валялись под деревом. Одна из ворон, недобитая, отчаянно крутилась на снегу, волоча за собой кишки и беззвучно широко раскрывая клюв.

Солдат с рожей, обросшей рыжей щетиной, подошел к птице и с садистским сладострастием наступил грязным сапогом ей на голову, несколько раз повертев ногой и вдавливая в снег.

Вдруг он разглядел Бунина. Словно давнему знакомому, он улыбнулся безобразным беззубым ртом, затем вынул из кармана револьвер. Продолжая щериться, навел дуло на Бунина. Грянул выстрел. Бунин не отпрянул, не дрогнул. Солдат корчился от смеха, показывая друзьям, как он пугал вон того буржуя и как в последний момент стрельнул в воздух.

Бунин ушел в спальню, обратился взором к особо чтимой им, намоленной еще его предками иконе с образом Спаса Нерукотворного.

– Господи, вразуми этих заблудших людей... Не ведают, что творят. – Помолчал, выдохнул: – «Скорпии ядовитые», как выражался Иоанн Васильевич.

2

Бунин направился к Шмелеву. Он взял извозчика, лихого парня цыганского вида с веселыми глазами, в громадной бараньей шапке. Дорога от Арбата до Малой Полянки недолгая.

– И-ех, застоялись, шевелись! – Извозчик щелкнул в воздухе кнутом.

Высокие узкие саночки щегольского вида, запряженные парой, понесли Бунина по бульвару. Спустились со Знаменки, въехали на Большой Каменный мост и через минуту катили по Замоскворечью.

«Какое чудное место, – думалось Бунину, – люблю русскую старину и древние обычаи, дошедшие из темных глубин столетий. Вот наша колыбель, вот где скапливались национальные силы! Ведь, поди, уже при Иване Васильевиче за этими могучими стенами из бурого обожженного кирпича быт был крепкий, отцы и деды думали о благе тех потомков, которые лет этак через пятьдесят или сто их дело будут продолжать. Вот и вырос в такой среде Шмелев, в исконной, в старообрядческой. Вот откуда в его книгах столь крепок нерастраченный дух русскости, национальный дух!»

* * *

Из-за угла на набережную вывалилась демонстрация с красными знаменами, с пением «Марсельезы», с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию!» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

По всему мосту и вдоль тротуаров стояли бойцы Красной (или, как еще ее называли, «двадцатирублевой») гвардии. Они молча наблюдали за толпой, готовые в любой момент разогнать ее.

На Кадашевскую набережную со стороны Малой Якиманки тоже выходили колонны демонстрантов: с лозунгами, с пением партийных гимнов. Некоторые зачем-то притащили за собой детей.

– Гуляют, – повернулся к Бунину извозчик, – опохмеляться будут опосля.

Свернули на Малую Полянку. Повсюду толпился народ. Четверо солдат с красными повязками на рукавах наблюдали за выходящим с рынка высоким, офицерской выправки человеком в бурке и темной каракулевой шапке. Был он немолод. На щеке горел глубокий рубец от старой раны. В левой руке он нес хозяйственную сумку.

Один из солдат, видимо старший, в шинели с прожженным рукавом и обвешанный зачем-то гранатами, словно шел в атаку, что-то приказал. Все четверо, расталкивая толпу, ринулись к человеку в бурке.

– Стой, документ! – строго произнес старший.

Человек, с холодным презрением взглянув на солдат, опустил сумку на снег, медленно стянул с рук замшевые перчатки. Он достал желтое портмоне, вынул бумаги и двумя пальцами протянул их солдату.

Тот, раскрыв их, медленно шевелил губами. Толпа молча внимательно следила за этой сценой. Лошадь, широко расставив задние ноги, долго мочилась, брызжа во все стороны и оставляя желтое пятно на умятом снегу.

– Пономаренко! – Старший поманил одного из своих товарищей, тощего и рыжеусого, похожего на недоучившегося семинариста. – Прочти!

– Тут по-немецки!

– Ты немец?! – зарычал солдат, поднося бумаги к самому лицу человека.

Тот отступил назад, запнулся о сумку, поскользнулся и неловко упал на руку.

Это еще больше рассвирепило старшего. Он орал, брызгая слюной и топая сапогами:

– Ты шпион? Германский? Австрийский?

Человек поднялся, вытирая снег с мокрой ладони, и негромко произнес:

– Я русский. А это заграничный паспорт. Там по-французски написано.

Солдат вцепился в бурку человека и с силой дернул ее. Под ней виднелась дорогая офицерская шинель.

– Это что? Товарищи, это царский офицер!

Со всех сторон бросились зеваки.

– Шпиёна поймали! – весело кричали оборванные мальчишки.

– Ишь, сукин сын, какой гладкий! – с ненавистью проговорила старуха в древнем салопе, вытаращивая безумные выцветшие глаза.

Старший, презрительно глядя на человека, сплюнул ему прямо на сапог и сквозь зубы прошипел:

– Ты куда, шпион, шел?

– Попрошу быть вежливей! – строго сказал человек. – А иду я домой.

– Ах, вежливей! – протянул старший. – Ваше благородие, извиняйте нас, пролетариев, виноватые мы перед вами. – И, резко меняя тон, рявкнул: – Обыскать!

Двое солдат бросились к человеку, запустили руки под бурку. Тот оттолкнул солдат:

– Как смеете? На каком основании?

– Сейчас тебе будут основания...

– Уберите руки!

– Ах, сволочь, ты еще оказывать сопротивление? – налился багровой кровью старший. Гранаты отчаянно болтались у него на поясе. В мгновение ока со злобной решительностью он рванул бурку, повалил офицера на снег. Ловким движением приставив винтовку к его голове, выстрелил.

Офицер растянулся на снегу, руки и ноги его судорожно сокращались. Из рта пошла кровавая пена. По лицу бугорками быстро бежала кровь, собираясь возле головы небольшой густой лужицей. Из сумки выкатилось несколько луковиц.

– Что же вы делаете, убийцы! – закричал какой-то высокий худой старик.

Толпа, скользя по снегу, бросилась врассыпную.

Бунин, став бледнее полотна, приказал:

– Вези обратно на Поварскую!

Вернувшись домой, он позвонил Шмелеву. Тот вдруг сказал:

– У нас соседа убили на базаре, боевого генерала Семенова. Он сподвижник великого князя Николая Николаевича, бывшего главнокомандующего. Завтра должен был к сыну в Варшаву ехать.

3

Стрелять 5 января начали во многих частях города. Бунин после несчастного путешествия в Замоскворечье ни в этот день, ни в следующий на улицу носа не казал. Целый день трещал телефон. Позвонил Станиславский:

– Мы сегодня отменили репетицию и спектакль. В таких условиях работать нельзя. Но завтра надеемся сыграть «Трех сестер». Будем поздравлять публику с началом работы Учредительного... Не придете? Жаль...

Раза три звонил Юлий, говорил, что на Тверской красногвардейцы в упор застрелили какого-то Ратнера, несшего знамя земских служащих.

– Кого? – ужаснулся Бунин. – Льва Моисеевича, врача с Арбата? Который в доме пятьдесят один жил?

– Нет, говорят, инженер. И еще есть много жертв. Красногвардейцы стреляли в демонстрантов на Театральной площади, на Петровке, на Миусской.

Чуть позже Юлий позвонил еще раз:

– Что творится, уму непостижимо! Слуга Андрей ходил на Сухаревку, хотел свой старый тулуп продать, но попал под обстрел. Сунулся на Сретенку, думал у тетки (живет в Луковом переулке) тулуп оставить, а стрельба и там началась. Убили какого-то величественного, удивительно осанистого старика, похожего на священника, шедшего с внучкой из церкви. Девочка теребила за руку мертвого деда и плакала: «Дедушка, вставай, я боюсь!» Солдаты сажают в толпу без всякой нужды, ради забавы, – горько вздохнул Юлий. – Говорят, что разгоняют лишь тех, кто ходит на демонстрации в поддержку Учредительного собрания. Но страдают и случайные прохожие, как этот несчастный старик.

* * *

Неожиданно забежал к Бунину Чириков. Теребя короткую бородку, он с порога нервно затараторил:

– Я потрясен, я уничтожен... Ничего не могу понять! Возвращался сегодня с Николаевского вокзала, ездил Арцыбашева провожать, он в Бологое отправился... И вот пробираюсь через Каланчевку, и вдруг...

– Стреляли?

– Именно! Солдаты палили в демонстрантов. Люди шли мирно, и вот вам... – Он застонал, схватился руками за голову.

Зазвонил телефон. Бунин услышал голос Телешова:

– Слава богу, у нас на Покровке пока тихо. Сидим дома, на улицу носа не кажем.

Отстояв в церкви обедню, к Бунину пришли супруги Зайцевы. Истovo перекрестившись на икону, висевшую в передней, Борис Константинович – очень религиозный человек – только после этого со всеми поздоровался. Обнимая Бунина, глухо произнес:

– Что, брат, времена последние наступают?

Сели обедать, под селедку выпили изрядно водки – с горя.

Прибежал Юлий. Возбужденно проговорил:

– Что же это такое? Большевики войну с народом ведут? Такой жестокости Москва еще не знала со времен Иоанна Васильевича.

Бунин огорченно сказал:

– На моих глазах убили немолодого заслуженного офицера. Теперь в безоружных людей стреляют. Ощущение такое, что какие-то преступники стравливают русских людей.

– Какие это преступники, мы отлично знаем, – вставила слово супруга Зайцева – тоже Вера Николаевна.

– Боюсь, что ничего хорошего мы уже не дождемся, – задумчиво произнес Бунин.

* * *

Москва была поражена случившимся. Газета «Наше время» сообщала: «На Страстной площади расстрелян несший знамя молодой человек и несколько манифестантов. Здесь же гражданин Борухин ранен в грудь на вылет. На Театральной площади, у театра „Модерн“, залпом из винтовок обстреляна манифестация печатников, направлявшаяся к памятнику первопечатнику Ивану Федорову. Несколько человек манифестантов убито и ранено.

На Неглинном проезде обстреляна манифестация торгово-промышленных служащих. Несколько человек ранено, несколько убито. В числе раненых оказалась девушка-знаменосец, несшая плакат «Да здравствует демократическая республика!».

На Каланчевской площади и в других местах манифестации расстреливались красногвардейцами, разъезжавшими на грузовых автомобилях. В Замоскворечье расстреливались манифестации так же, как и в других местах. Усиленная стрельба была на Сухаревской площади, Сретенке, на Елоховской площади и Немецкой улице».

Бурлили страсти в Моссовете. Мнение фракции меньшевиков, гневно потрясая кулаками, изложил делегат Кипень:

– Демонстрация пятого января подвергалась самому дикому расстрелу, хотя жертвами пали не какие-нибудь «буржуи», а рабочие, представители подлинной демократии, и социалисты. Это показывает, что партия власти, большевики, боялась участия в демонстрациях именно рабочих. Большевики знают, что в рабочих массах происходит перелом настроения, и потому, чтобы предупредить выход рабочих на улицу, были пущены все средства. Заводские комитеты ряда предприятий угрожали увольнением всем, кто пойдет на демонстрацию. Красногвардейцы на некоторых фабриках силой не выпускали рабочих на демонстрацию, отбирая знамена. В ряде случаев в манифестантов стреляли без предупреждения, в упор, хотя последние были безоружны. Манифестанты шли с лозунгом «Да здравствует Учредительное собрание!».

Тактика Ленина была нехитрой, но действенной: террор, террор без жалости и ограничений.

Намыленный шнурок

1

В пятницу, 5 января 1918 года, в Петрограде денек выдался так себе: серенький, тихонький, ни солнца, ни света. Тяжелое свинцовое небо совсем прижалось к земле. Настроение у обывателей сонное и тоже тяжелое, словно подавленное нелегкими предчувствиями.

В десять часов утра большинство фракций, представленных в Учредительном собрании, сошлись в какой-то продымленной чайной на Невском. Теснота невообразимая. Начали переключку, кто-то пытается шутить, но кислое настроение не проходит.

Важный господин генеральского вида в хорошем драповом пальто с бобровым воротником напоминает:

– Господа, не забудьте взять розетки!

Укрепляют в петли розетки, сшитые из красного шелка. Секретарь раздает пропуска. Депутаты внимательно рассматривают билеты кровавого цвета. Внизу подпись: «Комиссар над Комиссией по выборам в Учред. собр. М. Урицкий».

* * *

Моисею Соломоновичу Урицкому, мещанину города Черкасс, комиссионеру по продаже леса, охранное отделение Москвы дало в свое время нелестную характеристику: «Не производит впечатления серьезного человека».

Иначе думали вожди Октября – Ленин, Троцкий и Зиновьев. Они поставили Урицкого на весьма серьезный пост – начальником Петроградской ВЧК.

Теперь комиссионер по продаже теса и бревен бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной коммуне.

Жить ему оставалось недолго. 17 августа 1918 года выстрел восторженного и честного юноши-поэта Леонида Каннегисера оборвет жизнь этого высокопоставленного палача.

Впрочем, известный романист Марк Алданов, по горячим следам описавший это покушение, отмечал: «Мне говорили, что труды в Чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы упорядочить террор, но встречал будто бы сопротивление в Совете Народных Комиссаров и в разнузданной стихии „районов“. В „районах“ людей резали без формальностей, а ему хотелось, чтобы казнимые проходили через „входящие“ и „исходящие“... Ссылки на вину „разнузданной стихии“ хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, „страдали“ и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина».

И далее о Каннегисере: «Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали на его долю? Не знаю... Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью...»

Петербург в те дни залился потоками крови. „Революционный террор“ ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьева...»

Каннегисер, понятно, был убит. Иллюстрированное приложение к «Петроградской правде» в годовщину «предательского (?) убийства», отмечая многочисленные достоинства

бывшего шефа ЧК, писало: «Молодой Моисей Соломонович до 13 лет изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда».

Знание мудрой книги не помешало Урицкому сначала стать членом террористической партии эсеров, позже сделаться шефом ЧК и реками лить русскую кровь.

2

Но пока что, бережно спрятав в карманы мандаты с автографом Урицкого, депутаты стекались в Таврический дворец. Еще Временное правительство побеспокоилось оборудовать его под заседания Учредительного собрания.

Давно выпавший, лежалый снег уминают до обледенения. По мостовой скользят бурки, сапоги, штиблеты. Избранники партий идут посередине мостовой, на глазах многочисленных обывателей, стоящих вдоль тротуаров. До Таврического не больше версты...

– Господи! – крестится старая сморщенная старушка, перевязанная платком крест-накрест. – Слово на казнь волокут, сердечных.

– Ты, бабка, молчи, – одергивает ее долговязый круглолицый парень приказчицкого вида в синем картузе. – Это начальство идет, пра-авительство... Нынче в начальство любого можно выбрать, хоть тебя, старую. – И парень хохочет, а старушка испуганно отмахивается.

Шествие и впрямь мрачное, неразговорчивое. Чем ближе к дворцу, тем больше вооруженных матросов и солдат. Они стоят группами, лузгают семечки и почти не глядят на депутатов. Но ясно, что они настороже, что в любое мгновение они возьмут ситуацию в свои руки.

Вот и Таврический. Старейший по возрасту, высокого роста, с мешками под глазами и крупным носом, депутат от эсеров Лазарев недоуменно говорит:

– Нас народ выбрал. А вот Ленин самочинно в Смольный забрался. Зачем дворец окружен пулеметами и пушками? Кто позволил? На нас никто нападать не собирается.

– Эх, Евгений Евгеньевич! – сокрушается другой старейший депутат – Швецов. – Это большевики нас пугают.

– А что пугать? Мы не за славой сюда идем, ради России...

Все ворота закрыты, их охраняют гренадеры и матросы, накануне прибывшие из Кронштадта и Гельсингфорса. Приоткрыт единственный узкий проход. Туда пускают по красным мандатам. Стражники, прежде чем пропустить, тщательно обыскивают каждого депутата. Не стесняются шарить по карманам.

– Безобразие! Как вы смеете! – кипит седобородый октябрист, депутат трех Дум Лавров.

– Иди, дядя, иди! – насмешливо говорят матросы. – Счастливого обратного выйти.

– Что такое?! Куда мы попали? – еще более возмущается Сергей Осипович, бывший управляющий государственным имуществом Самарской губернии. – Надо сегодня же сделать запрос...

* * *

Пришедшие поднимаются по белой мраморной лестнице.

– А лестницу устилала, помнится, ковровая дорожка. Еще в газетах писали – специально заказывали в Самарканде, – удивляется Лавров.

– Было, да сплыло! – философски отвечает представитель сионистской фракции Юлий Бруцкус. – Здесь же ночевали славные бойцы Красной гвардии. Вот и успели пропить...

– Если бы только пропить! – отзывается идущий на несколько шагов впереди глава эсеров Виктор Чернов. – Вон у мраморной статуи голову отбили. Ах, какая дикость – на мраморе штыком нацарапали бранное слово!

* * *

Верный ленинец Владимир Бонч-Бруевич довольно подробно и красочно описал в своей небезынтeресной книге «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций» (М., 1927) военно-операционную обстановку, созданную большевиками в связи с открытием Учредительного собрания. Он признает: «Часть матросов... оказалась не на высоте положения и стала портить инвентарь».

Большевистская верхушка весьма тревожилась за свой престол. Однако дело организовали блестяще. В заметках о Ленине, опубликованных в «Правде» 20 июня 1924 года, Троцкий с партийной принципиальностью пишет о нервозности вождя, о его сомнениях в «преданности» красных солдат и матросов.

Ильич настаивал на вызове в Петроград ко дню открытия Учредительного собрания латышских стрелков, ибо «русский мужик может колебнуться в случае чего, тут нужна пролетарская решимость». И он приказал доставить «в Петроград один из латышских стрелковых полков, наиболее рабочего по составу».

Хлебнув пьянящей силы власти, никто не желает расстаться с ней добровольно.

* * *

Депутаты заполнили фойе. У всех выходов заняли места караулы, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками, обвешанные гранатами, патронными сумками, револьверами.

Чернов встревожился:

– У меня такое ощущение, что нас уже арестовали и всех отправят в Петропавловку.

– Или перестреляют на месте, – добавил Лазарев.

Еще накануне делегаты решили, что председательствовать по праву следует ему как старейшему. Теперь Лазарев наотрез отказался:

– Нет, господа, под штыками не могу!

Пока спорили, часы пробили двенадцать – время открытия заседания. Но большевики дали указание матросам никого в зал не пускать – «до особого распоряжения»!

Марк Вишняк был очень молод и горяч. Он возмутился:

– Ленин просто издевается над народными избранниками. Это безобразие надо прекратить! – Куда-то отправился и исчез.

– Где наш юный друг замешкался? – волновался Швецов. – От ленинских головорезов можно ждать любой мерзости.

Долго пропадавший Марк Вениаминович наконец явился. Его лицо было багряного цвета, а сам разгорячен и гневен.

– До гражданина Ленина не допустили, а Дыбенко наорал на меня: «Подождете!» И нецензурно выражался.

– Кто такой Дыбенко? – удивился Швецов.

– Как – кто? Нарком по морским делам. Здоровый такой, жгучий брюнет, с цепью на груди. Похож на содержателя бань.

– На этой цепи – золотые часы, награда большевиков за верную службу! – сообщил, как всегда хорошо информированный, Чернов. – Только вот интересно знать, кого большевики ограбили на эти часы. Говорят, Троцкий возит за собой патронные ящики, набитые часами и портсигарами, и раздаривает их наиболее жестоким головорезам.

... Через четыре месяца Павел Ефимович Дыбенко, родившийся в 1889 году в глухом селе Черниговской губернии, будет предан «революционному суду» – за измену родине и необос-

нованную сдачу немцам Нарвы. Но последует негласное распоряжение Ленина, и этого витязя с цепью из-под стражи и суда освободят.

Поговаривали, что причиной сей милости была слезная просьба генеральской дочки и большевички Коллонтай. Александра Михайловна была семнадцатью годами старше Дыбенко и любила его со всей страстью климактерического возраста.

...Прошел еще час, потом другой. Депутаты сникли. Всем хотелось есть и пить, но буфеты в Таврическом не работали. Боевой запал, желание бороться с большевиками за каждую позицию заметно уменьшились.

– Да, Ленин – великий тактик! – покачал головой Чернов. – Он нас победит, даже не появившись на поле битвы.

* * *

Но дело было несколько сложнее. Задержка произошла из-за беспорядков на улицах Петрограда. Демонстранты, вышедшие поддержать Учредительное собрание, разгонялись большевиками. В тот момент немногие сознавали, что события, разыгравшиеся вне стен Таврического дворца и вне воздействия большинства, фактически уже предрешили исход столкновения, которому предстояло еще произойти в самом дворце. Перевес реальных сил определил отношение большевиков к собранию. Некоторые из них принимали непосредственное участие в подавлении уличного движения, разгоне и расстреле демонстрантов.

Тот же Дыбенко описывает: «В 3 часа дня, проверив с тов. Мясниковым караулы, спешу в Таврический. В коридоре Таврического встречаю Бонч-Бруевича. На лице его заметны нервность и некоторая растерянность... Около 5 часов Бонч-Бруевич снова подходит и растерянным, взволнованным голосом сообщает: „Вы говорите, что в городе все спокойно: между тем сейчас получены сведения, что на углу Кирпичной и Литейного проспекта движется демонстрация около 10 тысяч вместе с солдатами. Направляются прямо к Таврическому. Какие приняты меры?“ – „На углу Литейного стоит отряд в 500 человек под командой тов. Ховрина. Демонстранты к Таврическому не проникнут“. – „Все же поезжайте сейчас сами. Посмотрите всюду и немедленно сообщите. Тов. Ленин беспокоится“. На автомобиле объезжаю все караулы. К углу Литейного действительно подошла внушительная демонстрация, требовала пропустить ее к Таврическому дворцу. Матросы не пропускали. Был момент, когда казалось, что демонстранты бросятся на матросский отряд. Было произведено несколько выстрелов в автомобиль. Взвод матросов дал залп в воздух. Толпа рассыпалась во все стороны. Но еще до позднего вечера отдельные, незначительные группы демонстрировали по городу, пытаясь пробраться к Таврическому. Доступ был твердо прегражден».

Верно осведомленная горьковская «Новая жизнь» в номере от 6 января сообщала: «Совнарком провел в большой тревоге ночь на пятое января. Пришли сведения, что Преображенский и Семеновский полки в своем большинстве решили присоединиться к социал-революционерам и примут участие в манифестации под лозунгами „Вся власть Учредительному собранию“, что таково же настроение 2-го Балтийского флотского экипажа... Тревога из Смольного передалась всем правительственным учреждениям. Во все комиссариаты были выребованы усиленные наряды красногвардейцев. Везде установлены были ночные дежурства. До 5–6 часов утра в Смольном и комиссариатах не смыкали глаз».

Еще накануне Совнарком предложил «членам мирных делегаций Германии, Австрии, Болгарии и Турции (находящимся в то время в Петрограде) перейти на 5 января в более безопасное помещение, нежели то, в котором они находились».

3

Наконец, в четыре часа пополудни истомленных долгим ожиданием депутатов допустили в зал. На улице уже победили большевики: оружие над лозунгами всегда имеет преимущество. Расселись по фракциям.

Ленинцы явились дружной, хорошо пообедавшей и выпившей компанией с заранее приготовленным плакатом «Фракция большевиков». Удобно разместились в креслах Коллонтай, Дыбенко, Вера Фигнер, Стеклов-Нахимкес, будущая следователь ЧК Розимирович и другие. Отсутствует Троцкий: он укатил в Брест – сдавать немцам Россию.

В левой от председателя ложе – Ленин. Прижав к виску вытянутый палец, умным и напряженным взглядом он следит за всем происходящим. Убедившись, что все идет по разработанному им сценарию, успокоился, откинулся на спинку кресла. Бледные губы кривит ехидная усмешка.

Из рядов большинства поднялся на сцену социал-революционер Лоркипанидзе. Он предложил в председательствующие Швецова. Тот медленно, старческой походкой взойшел на трибуну, налил себе в стакан воду и начал пить. С балкона, где собрались матросы, солдаты и какие-то неизвестные личности, раздались насмешливые крики:

– Пей до дна, пей до дна...

Швецов опустил стакан и недоуменно начал озираться вокруг. Слева, где сидели большевики, слышались истошные вопли: «Вон!», «Х... моржовый!», «Самозванец!». Кто-то свистел, кто-то блеял, стучали пюпитрами.

Очевидец свидетельствует: «Беснующаяся, потерявшая человеческий облик и разум толпа. Особо выделялись своим неистовством Крыленко, Луначарский, Степанов-Скворцов, Спиридонова, Камков. Видны открытые пасти, сжатые и потрясываемые кулаки. Заложенные в рот пальцы. С хоров усердно аккомпанируют. Весь левый сектор являл собою зрелище бесноватых: не то цирк, не то зверинец, обращенные в лобное место. Ибо здесь не только развлекались, но и пытали, и распинали.

Старейший не перестает действовать председательским звонком и сквозь шум и неистовство объявляет Учредительное собрание открытым. В ту же минуту на трибуне сзади него и рядом появляется ряд фигур. Секретарь ЦИКа, будущий чекист Аванесов, вырывает из рук Швецова звонок и передает его Свердлову. Тот вторично объявляет заседание открытым. Именем ЦИКа Свердлов „выражает надежду“ на „полное признание“ Учредительным собранием всех декретов и постановлений, изданных Совнаркомом, и на одобрение собранием декларации „русской социалистической революции“, провозгласившей не индивидуальные права человека и гражданина „на свободную эксплуатацию людей, лишенных орудий и средств производства“, а коллективные „права трудящегося и эксплуатируемого народа“. Это была та самая нелепая „Декларация“, которая потом вошла целиком в первую Конституцию РСФСР от 10 июля 1918 года и которая пятью годами позднее была полностью отброшена той же советской властью из Конституции СССР 6 июля 1923 года.

Из ложи правительства Ленин шлет записку в большевистскую фракцию. И, точно по команде, поднимается Степанов-Скворцов и предлагает пропеть „Интернационал“. Все встают. Поют. У левых и правых свои дирижеры. У социал-революционеров находящийся впереди Чернов, время от времени оборачивающийся лицом к депутатам и широкой жестикуляцией силившийся их вдохновить и увлечь. Поют, однако, далеко не все. На обоих флангах нестерпимо фальшивят. И не только звуки, шедшие как попало, вразброд, „по фракциям“, фальшивят...

Устами председателя ЦИКа Свердлова большевики предъявили категорическое требование – признать „в корне неправильным, даже с формальной точки зрения, противопоставление себя советской власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся

массам и их полномочному представительству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов“. Задачи же Учредительного собрания „исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества“».

Умело торпедированное большевиками, Учредительное собрание медленно разваливалось.

4

Пока депутаты тщетно пытались кое-как наладить заседание, в Таврическом саду матросы произвели закулисный расстрел.

Дело было так. Ленин оставил на вешалке пальто. Его карман провисал под какой-то тяжестью. Одного из часовых это заинтересовало: «Что это там у нашего Ильича?» Запустив в карман руку, он извлек на свет божий револьвер.

– Пригодится в хозяйстве, – решил красногвардеец, реквизируя находку. – Ильичу всегда новый выдадут.

Тем временем, устав от шума в зале, Ленин решил прогуляться во дворике дворца. Он накинул на себя пальто, которое сделалось вдруг подозрительно легким.

– Где револьвер? – возмутился Ильич. – Сюда – Дыбенко!

Явился сконфуженный народный комиссар.

– Что это такое?! – топал ногами вождь. – Обыск и выемка? Карманников развели среди караульных! Отыскать вора и наказать.

Через три минуты виновного обнаружили. Через пять, выведя во двор и поставив к толстому дубу, матросы стали совещаться:

– Как казнить врага, поднявшего подлую руку на собственность вождя мировой революции, – повесить или расстрелять?

– Повесить бы – оно лучше! – кто-то высказал предложение. – Пусть подрыгается, а нам потеха смешная.

– И то дело! Тащи веревку и обмылок!

Пока прикидывали, на какую ветку сподручней забросить, вернулся посыльный.

– Вот, обмылок в сортире умыкнул, а из веревок только это... – И он протянул тонкий шнур для подъема портьер.

– Эх, раззява! – возмутились матросы. – Посмотри, солдат, на чем тебя он вешать хочет – шнурок тонкий, а ты жирный довольно. Сорвешься как пить дать!

Солдат, глотая слюны, рыдал навзрыд:

– Братцы, помилуйте! За что убивать собираетесь? За какой-то поганый револьвер. Парнишка мой из деревни приехал, хотел ему подарок сделать. Галок стрелять. А любимый Ильич себе самый лучший достанет...

– Дело, конечно, пустяковое. Но помиловать никак нельзя. Оставим тебя живым, а ты на глаза Ильичу попадешься, он от этого может расстроиться и в сердцах нас прикажет «замочить». Так что мы тебя сейчас быстренько прикончим, а потом за твою душу выпьем. У тебя, сердечный, сколько денег при себе? А вот в этом кармане? Давай сюда, тебе уже без надобности. И сам шнурок намыливай.

– Выдержит! – хохотали матросы. – Солдат уже легче стал, вишь, от страха обдриставшись...

Но тут выяснилось, что пока обсуждались технические вопросы, кто-то спер обмылок. Тогда солдата с шутками-прибаутками расстреляли.

* * *

Тем временем во дворце события шли своим трагическим ходом. Ленин с ближайшим окружением окончательно покинул зал. Соскучившаяся от безделья стража стала развлекаться тем, что наводила ружья на депутатов, брала на мушку, вскрикивала «пуф!» и дико ржала.

Но выстрел однажды едва не прозвучал по-настоящему. Какой-то матрос признал в эсере Бунакове-Фондаминском бывшего комиссара Черноморского флота, не пустившего однажды его на берег. И только иступленный крик депутата Бакута: «Опомнись!» – и удар кулаком остановили покусителя. (Погибнет Илья Исидорович Бунаков, видный публицист, один из создателей и редактор знаменитых парижских «Современных записок», от рук фашистов в 1942 году – как участник движения Сопротивления.)

5

«В полукруглом зале сложенные по углам гранаты и патронные сумки, составленные ружья. Не зал, а становище. Учредительное собрание не только окружено врагами, оно во вражеском стане, внутри, в самом логовище зверя. В отдельных группах «митингуют», спорят. Кое-кто из членов собрания пытается убедить солдат в правоте Учредительного собрания и преступности большевиков. Доносится:

– И Ленину пуля, если обманет!..

Комната, отведенная под фракцию социал-революционеров, занята матросами. Из комендатуры услужливо сообщают, что начальство не гарантирует защиту депутатов от расстрела в зале заседания. Тягучая тоска, скорбь и боль усугубляются от сознания безысходности положения и собственного бессилия. Жертвенность не находит для себя выхода. Что делают, пусть бы делали скорей!..

В зале собрания матросы и красноармейцы уже совсем перестали стесняться. Прыгают через барьеры лож, шелкают на ходу затворами, вихрем проносятся на хоры. Из ушедшей фракции большевиков фактически покинули зал лишь более видные; менее известные перебрались с депутатских кресел на хоры и в проходы и оттуда наблюдают и подают реплики. В публике на хорах тревога, почти паника. Депутаты на местах неподвижны. Большинство Учредительного собрания изолировано от мира, как изолирован Таврический дворец от Петрограда, Петроград – от России. Кругом шум, а большинство точно в пустыне, преданное и покинутое на волю победителей: чтобы за других – за народ и за Россию – испытать горькую чашу. Передают, что к Таврическому высланы кареты и автомобили для увоза арестуемых. И в этом было даже нечто успокоительное – все-таки некоторая определенность!» – писал Марк Вишняк.

* * *

Был пятый час утра. Сомлевшие от недосыпа депутаты оглашали и вотиrowали загодя закон о земле, обращение к союзным державам, отвергающее сепаратные переговоры, и «именем народов, государство Российское составляющих», постановление о федеральном устройстве Российской демократической республики.

Вразвалку, поплеывая семечной шелухой, на сцену медленно поднялся коротконогий брыластый матрос. Он шел к креслу Чернова, занятого процедурой голосования. За ним шагах в десяти вразвалку следовали его дружки в тельняшках и с ружьями за плечами.

Матроса этого звали Железняков, а в матросских и анархических кругах просто Железкой. Славился он главным образом необузданностью нрава, даже среди матросов его считали дебоширом и грубияном. Регулярно он обходил квартиры «буржуев», делал там никем не санкционированные обыски и выемки. И все, естественно, сходило с рук. Ведь сам Ленин, вербуя в свои ряды подонков, бросил крылатый клич:

– Грабь награбленное!

Вот и грабили.

Чернов с досадой повернулся к Железнякову:

– Что, товарищ матрос, вам надо?

– Чеши отселя! – И Железняков сплюнул шелуху. Вчера он перепил, и теперь ломило в висках. – Чего лупетки вытаращил? И граблями не махай, а то врежу промеж рогов...

– Как вы смеете! – возмутился Чернов. Он подбежал к трибуне и, обращаясь к залу, крикнул: – Большевики-уголовники творят насилие над народными представителями!

Железняков, вдруг свирепея, заорал ему в лицо, обдав густым перегаром:

– Ты не «представитель»! Ты – просто сволочь! Дерьмо собачье! Хрен моржовый!

Матросы направили дула ружей на депутатов.

В зале началась свалка. Все бросились к выходу, забывая вещи и портфели.

Чернов, внешне пытаясь сохранять достоинство, под насмешливым взглядом Железнякова нарочито медленно сошел со сцены. Вслед ему донесся презрительный голос Железнякова:

– «Представители», мать вашу! Ухи устали слушать треп!

Часы показывали четыре часа сорок минут.

Учредительное собрание – мечта нескольких поколений русских людей, – не успев родиться, перестало существовать. Германские деньги были переданы в надежные руки.

«И всякое деяние – срам и мерзость»

1

Над Москвой златоглавой словно черный ворон крылом взмахнул: все стало серо, бесцветно, погребально-печально. Не было слышно смеха, разговоры сделались тихо-сдержанными. Даже детишки, кажется, перестали играть и улыбаться. Зато город наводнили солдаты-дезертиры. Они целыми днями слонялись по улицам, лузгали семечки, торчали возле кучек митингующих. Где и чем они жили – оставалось загадкой.

Бунин нечасто выходил из дому. Лишь иногда заглядывал в «Книгоиздательство писателей», бывал на заседаниях «Среды» у Телешова, прогуливался по улицам, острым приметливым глазом наблюдая картинки революционной действительности.

Вернувшись домой, усаживался за письменный стол и заносил в дневник:

«О Брюсове: все левее, „почти уже форменный большевик“. Неудивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с „Кинжалом“ в „Борьбе“ Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик» (7 января).

«С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое» (5 февраля 1918 года).

«Вчера был на собрании „Среды“. Много было „молодых“. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямоотой суждений, был в мягкой рубаше без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер клич его,
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева».

* * *

Утро было с крепким морозцем. Солнце поднялось в апельсиновом мареве. Прохожие, зябко кутаясь, выдыхали клубы белого пара.

Но к полудню растеплилось. С крыш потянулись сосульки, на дороге, возле навозных куч, весело ершились воробьи, лошади споро бежали по наезженной дороге.

Следуя давней привычке, Бунин с женой отправился на Волхонку, в храм Христа Спасителя.

Он шел туда, как идет сын, запутавшийся в тенетах и соблазнах жизни, исстрадавшийся душой и телом, к любящему и умеющему все прощать отцу.

На молитвенное настроение подвигало и небывалое великолепие храма. Бунин, правда, знал о предсказании московских юродивых, пророчивших, что храму долго не стоять. Дело было в следующем: храм начали сооружать в память славной победы 1812 года, а первый

камень был заложен в 1838 году. Для возведения его пришлось снести два кладбища и Алексеевский монастырь, существовавший тут еще с шестнадцатого века.

(Монастырь, впрочем, перевели в Красное Село. Но и тут монахиням покоя не дали. Уже в Париже Бунина огорчит до слез весть: большевики монастырь упразднят, а на месте кладбища разобьют футбольное поле, общественный туалет и парк. По старой памяти народ будет называть его Алексеевским.)

* * *

Теперь, придя в святую обитель, Бунин с восторгом подумал: «Только промыслом Всевышнего возник такой храм, такая необычная красота, источавшая могучую духовную силу. И в самое нужное время возник он, когда стала слабнуть вера, когда народ качнулся к неверию!»

В искренней и горячей молитве изливал он свою душу, искренне каялся в грехах, просил духовной поддержки, припадая к облюбленным в клиросе двум образам. В правом клиросе находился образ Нерукотворного Спаса, повторивший икону церкви Спаса, что за золотой решеткой в Кремле.

В левом клиросе был образ Владимирской Богоматери – копия той, что находилась в Кремлевском Успенском соборе.

Приятно было сознавать, что образа запечатлели древнюю манеру письма, и даже нравились то, что их выполнил безвозмездно прекрасный живописец профессор Сорокин.

Бунин никогда у Бога не просил ничего из материального, почитал такие просьбы грешными. «Боже, не оставь меня!» – вот что всегда звучало в его молениях.

Но совсем рядом от бунинского жилья, неспешной ходьбы минут пять, не больше, находился еще один храм – это церковь Вознесения Господня на Царицынской улице, возле Никитских Ворот. Ее освятили в 1816 году. И всякий москвич, проходя мимо, неизменно замечал: – Здесь Пушкин с Натальей Гончаровой венчался!

Вот тут, идя мимо, Бунин всегда задерживался, ставил свечу старинному образу Вознесения Господня, творил молитву...

И каждый раз молитва поддерживала силы, укрепляла в добрых намерениях, сообщала мыслям разумный ход.

Только благодетельное неведение будущего, по милости Господней дарованное людям, не дало бунинскому сердцу разорваться. Ведь пройдет совсем немного времени, и большевики, окончательно утвердившись у власти, начнут осквернять православные святыни, крушить их.

И продажная литературная братия станет поддерживать власть во всех ее страшных преступлениях. Бард «номер один» в Стране Советов – придворный стихоплет Демьян Бедный напишет «огненные» строки:

Снесем часовенку, бывало,
По всей Москве: ду-ду! ду-ду!
Пророчат бабушки беду.
Теперь мы сносим – горя мало.
Какой собор на череду?

Эти кощунственные строки были приурочены к сносу храма во имя Христа Спасителя.

Когда от бесчеловечных большевистских злодеяний станет изнемогать земля русская, когда реками будет течь православная кровь безжалостно убиваемых россиян, Ленин издаст

еще один декрет (какой по счету?), еще более гнусный, чем другие. Он датирован 23 февраля 1922 года.

Бдительные цензоры ленинских писаний не посмели включить его в так называемое Полное собрание сочинений, и письмо большевистского вождя от 19 марта 1922 года, в котором он еще раз призывает решительно подавлять сопротивление духовенства проведению в жизнь декрета ВЦИК от 23 февраля. Не включены в это собрание и многочисленные проклятия в адрес ненавидимого Лениным русского народа, давно опубликованные на Западе.

Вот этот плод ленинского вдохновения (с сокращениями).

«Товарищу МОЛОТОВУ для членов ПОЛИТБЮРО

Строго секретно

Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинин тоже) делать свои пометки на самом документе

ЛЕНИН

<...> Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализацию этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших зарубежных противников среди русских эмигрантов, т. е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, – никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шую арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.

Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. **Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.**

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т. е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всей операции было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквях. *ЛЕНИН*

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основой каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия. *ЛЕНИН*.

* * *

Как преступник норовит в тайне держать свои темные делишки, так и «светоч всего прогрессивного человечества» Ульянов-Ленин сумел почти на семь десятилетий скрыть содержание этого страшного документа от русских людей.

Но каждого обличают дела его. Когда в декабре 1934 года Бунин, приехавший на некоторое время из Граса в Париж, раскрыл «Последние новости», то... свет померк в глазах, разум отказывался верить – большевики взорвали храм Христа Спасителя.

Бунин, покачивая головой, с горечью сказал:

– Ведь это какое-то бесовское неистовство. Человеческий разум такого вместить не может! Казалось, давно пора привыкнуть к большевистским преступлениям, но такое... Пусть в веках будут прокляты эти мерзкие деяния!

Ах, московские юродивые и старушки! Велика сила вашего провидения. Если бы им хоть в малой степени обладали кремлевские вожди! Может быть, ненависть грядущих поколений остановила бы их преступную руку.

3

Когда Бунины, отстояв обедню, вышли к Никитским Воротам, то столкнулись с супругами Цетлиными. Михаил Осипович был на двенадцать лет моложе Бунина, с детства страдал тяжелыми недугами и был одержим манией стихотворства, книги издавал в Париже.

Цетлины были богаты, помогали порой бедствовавшим писателям и художникам и устраивали в своем роскошном особняке на Поварской литературные вечера. Впрочем, Михаил Осипович обладал неплохим критическим даром, а из стихотворений, проникнутых еврейским национальным духом, можно отыскать с десятков довольно интересных. У него была роскошная шевелюра смолянистых жестких волос, уложенных назад, пышные усы и приятное лицо, нравившееся дамам.

У Марии Самойловны было крупное лицо с большим вздернутым носом и могучая, чуть ли не борцовская шея – все это далеко от эталонов красоты. Но у нее были громадные, подернутые печалью глаза, она была начитанна и политична. И еще: вся она была какая-то... ну, мягкая, что ли. Мягкие белые руки, мягкий голос, мягкая улыбка. Даже походка была мягкой, неслышной. Как у большой породистой кошки.

...По-весеннему все горело от солнца, плавилось золото церковных куполов, блестела снежная дорога, блестели крыши домов, голубое небо было безоблачным.

– Мы отпустили нашего шофера, решили наконец погулять по Москве. Такой чудесный день! – улыбнулась Мария Самойловна.

– Наши намерения совпадают! – обрадовалась Вера.

Отправились по Никитской к центру. У Охотного ряда свернули влево, миновали Театральную площадь, поднялись к Лубянке.

Кругом шумело многолюдье, кучками теснившееся тут и там возле большевиков-агитаторов, призывавших «разгромить буржуазию», идти за Лениным и Троцким – «борцами за светлое будущее пролетариев всех стран».

Недалеко от водопоя, в центре Лубянской площади, взобрался на мужичьи сани рыжий парень в драповом, изрядно ношенном клетчатом пальто с каракулевым воротником шалью, с белесыми кустистыми бровями и бесцветными глазами, со свежесбритым лицом, усердно припудренным, и золотыми коронками во рту.

Не возвышая, не понижая голоса, оратор как по писаному внушает толпе:

– Крестьяне, рабочие и воины! Много веков преступная воля царей и буржуазии издевалась над массами, проливая реки крови по улицам городов и деревень. Эти деспоты кормили народ вместо хлеба свинцом. Они довели родину до войны и разорения...

– А у самого изо рта золото светится! – гогочет солдат, сворачивая козью ножку. – Ишь, его тоже довели, а ряска – что тележное колесо...

Окружающие хохочут. Оратор делает вид, что не слышит нахальной реплики.

– Вы, товарищи трудящиеся, конечно, видели картину известного художника Репина, где Иван Грозный убивает собственного сына, так сказать, близкого родственника, наследника. Читали вы у знаменитого писателя Мережковского о том, как Петр Великий собственноручно пытал и казнил царевича Алексея? А ведь это был его родной сын, можно сказать – ребенок.

Подходят к толпе два грязных, обросших щетиной солдата. Оба коротконогие, оба в кулаках держат подсолнухи. Они жуют, смотрят недоверчиво и мрачно. Рядом с ними рабочий в желтой кожаной куртке. На его лице играет злая усмешка. Всем своим видом он показывает собственное превосходство над толпой. Остановился, мол, только на мгновение, для забавы: заранее, дескать, знаю, что говорят здесь чепуху.

Оратор победоносно повышает голос:

– Собственных детей не жалели, узурпаторы!

– А чаго их жалеть! – гогочет солдат. – Бабы новых на-шлифуют. А мы поможем, чем сможем. – И он нагло подмигивает стоящей рядом тощей блондинке.

Женщины застенчиво хихикают в ладонь. Оратор укоризненно грозит пальцем:

– Товарищ солдат, у вас неправильный классовый подход. Ведь они своих сыновей не жалели, как же такие деспоты могли простой народ жалеть? Равнодушны к народу были. Цари – па-ла-чи!

Курносый господин с рачьими глазами, одетый в дорогую енотовую шубу и такую же шапку, злобно кричит:

– Заткнись, козел! На чьи деньги треп ведешь? На германские?

Оратор демонстративно отворачивается к женщинам, которые о чем-то между собой жарко спорят:

– Гражданки женщины! Революция вам даст полную свободу от семейного деспотизма.

Блондинка вдруг озорно кричит:

– А правду говорят, дескать, одиноким по талонам можно будет любовников получать?

Теперь гогочут все. Солдат – блондинке:

– Я выдаюся без талонов, не теряйся, получай!

Оратор пытается перекрычать толпу:

– Демократический строй даст вам полный простор для культурного развития... Эмансипацию!

Курносый господин, пробравшийся вперед, изо всех сил дергает за ногу оратора. Тот взмахивает руками и летит на телегу. Курносый с размаху бьет оратора в ухо. Женщины испуганно кричат, солдаты смеются. Дымящий козьей ножкой подначивает:

– Зуб ему выбей. Мы зуб лучше пропьем. Гы-ы!

Курносый с видом победителя идет своей дорогой, оратор вытирает кровь с лица.

Прилично одетая дама говорит:

– От большевиков никому не стало лучше. Раньше у меня была школа. А теперь, понимаете, кормить учеников стало нечем...

Удивительно тощая бабешка со злыми желтыми глазами, похожая на сушеную тарань, перебивает:

– Никому ваша школа не нужна. Ждите в Москву немцев. Скоро наведут порядок! Они взыщут.

– Немцев не дожدهшься. Мы вас всех перережем прежде! – холодно роняет рабочий.

Солдаты охотно вторят:

– Во, это верно! Прежде чем придут – всех к едрене шишке переведем! Вот с этой вешалки начнем!

– Ей бы мужика, она тогда вякать перестала б! – скалится солдат с козьей ножкой. – Иди сюда, дорогая! Сейчас мы тебя полюбим по разочку! – И он тянет руки к желтоглазой.

Та злобно шипит:

– Тебе немцы покажут!

Тем временем измятый оратор, с разбитым кровавым носом, с соломой, приставшей к воротнику, вновь влезает на сани. В толпе с восхищением замечают:

– Какой настырный! Нос расквасили, а он опять за свое.

Оратор ищет сочувствия у толпы, показывает на свое лицо:

– Вот что творят царские блюдолизы...

Рабочий, залихватски сдвигая на ухо кепку, кривит в ненависти рот:

– Молчать вашему брату следует, вот что! Нечего пропаганду распускать. Шибко грамотные стали, а работать не желаете.

...Бунин задумчиво качает головой, а Мария Самойловна говорит:

– Идемте от греха подальше.

4

Возвращались через Петровку. Возле древних монастырских стен монахи колют лед. Делают они свое дело тщательно и серьезно. Но толпа, глазающая на них, ликует:

– Ага! Выгнали! Теперь попрыгаете.

На Страстной площади необъятной ширины баба, злая и напористая, волнуется:

– Ишь, афиши расклеивают! А кто будет стены мыть? Опять же мы, простые трудящиеся. А буржуи будут ходить по театрам. Мы вот не ходим. Так запретить им тоже, нечего...

Уже под вечер, взяв извозчика, поехали к Цетлиным.

5

В доме Цетлиных уютно, спокойно и богато. Кроме Буниных, пришли ближние соседи – супруги Зайцевы. Старинные картины на стенах, кожаные корешки книг в шкафах, удобные диванчики, вышколенные слуги, выписанный из Парижа знаменитый повар. И – регулярные литературно-музыкальные вечера.

Салон Цетлиных пользовался доброй славой. Здесь побывали все знаменитости: от Горького и Брюсова до Павла Муратова и Александра Бенуа. За черным «Беккером» сидели Рахманинов, Гольденвейзер, Прокофьев, Гречанинов. Недавно наслаждались дивным пением Леонида Собинова: украинские песни, русские романсы, ария Лоэнгрина.

Восторг был таким, что Мария Самойловна бросилась к певцу и жарко поцеловала его – под аплодисменты гостей.

Теперь прекрасный певец зачем-то занялся административной работой – стал директором Большого театра. В салоне это не одобрили – администраторов много, Собинов – один.

За громадным обеденным столом умещалось много народу. В столовой ярко горел свет, говор, улыбки, звуки открываемого шампанского, бесшумно скользящие лакеи с серебряными подносами.

И среди гама литературных гостей – тихий хозяин, обращающийся к гостям почти шепотом. Он все замечает, успевает каждому сказать доброе слово, вовремя подлить вина, предложить вкусное блюдо.

В Париже на рю Фэзенари, в доме 118 Цетлин предусмотрительно купил большую удобную квартиру. (Пройдет чуть больше двух лет, и Бунин, глотая слезы унижения, поселится в этой квартире в качестве «нахлебника».)

А пока что была Москва, был гостеприимный дом Цетлиных, и никто даже не представлял тех беженских мук, которые ждали их всех впереди. Хуже беженства только смерть.

* * *

Гостей собралось много. Рослый и плотный, с бритым породистым женственным лицом Алексей Толстой говорил на множество ладов, рассказывал забавные истории, неожиданно и громко хохотал, и нельзя было удержаться, чтобы не расхохотаться с ним.

– Тебе, Алеша, только актером быть – такой комический дар пропадает! – улыбался Бунин.

– Мы все актеры! – парировал Толстой.

Сели за стол. Толстой много ел и пил, и была всегдашняя опасность, что вновь переберет с напитками и вести его к авто придется под локти.

После десерта из столовой прошли в гостиную. Марина Цветаева нервно вертела папироску, сыпала колкими и манерными словечками. Она стала читать стихи и стрекотала острые и нервные свои строки, с такими же переломами, как сама, с таким же жеманством, как всегда, – со свежими, пронзительными ритмами:

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет выюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

Есенин – совсем юный еще паренек – слушал внимательно, с задумчивостью на иконописном деревенском лице. Одобрил вдруг, подбоченясь, с каким-то задором, мол, знай наших.

– Очень, очень неплохо! У вас выходит, Марина Ивановна, даже замечательно... – Показал белокурой головой, стриженной под скобку.

Мужчины заговорили о политике. Бесконечной темой разговора оставался разгон большевиками Учредительного собрания и расстрел мирных демонстраций в Москве и Питере.

– Я однажды разговаривал в Петрограде с Лениным. Такой приятный человек, никак не ожидал с его стороны вероломства! – тихим голосом возмущался Михаил Осипович. – Мы, эсеры, вели честную игру. А Ленин украл нашу аграрную программу, теперь выдает ее за большевистскую. Как это можно? Вот и с Учредительным тоже... Как некрасиво! Как мы ошиблись в большевиках...

– Да, вы ошиблись, как Джакомо Казанова с одной молодой прелестницей, – усмехнулся Бунин.

– Как интересно! – воскликнула Мария Самойловна. – Миленький Иван Алексеевич, расскажите...

– Как-то Казанова влюбился в одно юное создание, но удовлетворить свою страсть не имел возможности: у создания был богатый патрон – граф Тур-д'Овернь, который ее содержал в полной роскоши. Казанова не мог дать ни малейшего повода для подозрений, иначе его перестали бы пускать в великосветские салоны, где бывала малютка.

И вот однажды поздним вечером, когда лил сильный дождь, а Казанова был без коляски, граф предложил ему занять место в фиакре. Там уже разместилось несколько человек. Среди них был предмет вожделений Казановы. Весь трепеща от страсти, стора от вожделения, Казанова в темноте фиакра схватил руку малютки, нежно прильнул к ней. Он осыпал ее поцелуями. Затем, желая доказать собственную страсть и надеясь, что рука малютки не откажет в некой сладчайшей услуге, Казанова начал смелый маневр. Но каково же было его удивление, когда услышал голос графа:

– Я совершенно недостоин, Казанова, галантного обычая вашей страны...

К своему неописуемому ужасу, Казанова в этот момент нащупал рукав кафтана Турд'Оверня!

Все от души улынулись, а Бунин добавил:

– Так и вы, эсеры. Приняли ленинцев не за тех, кем они являются в действительности.

6

Мария Самойловна сыграла на фортепьяно что-то из пьес Листа. Она то и дело фальшивила, но гости делали вид, что не замечают этого.

Михаил Осипович, стеснявшийся читать свои стихи в больших компаниях, на этот раз осмелился.

Ты жизнь и свет, ты жизнь и красота,
Ты радость радости и жизни жизнь...

Бунина не пришлось долго уговаривать. Минуту-другую он молчал, собираясь с мыслями. Помогая себе сдержанными, но выразительными жестами, он читал великолепным чистым голосом приятного тембра:

Возьмет Господь у вас
Всю вашу мощь, – отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове,
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети ваши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье – срам и мерзость
Пред Господом, и выражение лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех. – Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

– Пророческое стихотворение, вполне библейское, – с восхищением произнес Борис Константинович.

– Мурашки по спине бегут, – согласилась его супруга.

Бунин молчал. Затем вздохнул:

– Народ попустил. Народ и ответит. И все!

Вновь просили читать Михаила Осиповича.

– Хватит, господа, я сегодня не расположен...

И такой вид был у него, что от него отстали. Цетлин продолжал так тихо, любезно угощать и говорить о литературе, не напрягая голоса, благозвучно, интеллигентно, беззлобно.

На Бунина снизошла какая-то сладкая грусть, которая всегда являлась для него провозвестником переломных, роковых минут.

Увы, он не ведал, что этот вечер – последний для него в московском доме Цетлиных.

Главный фронт – внутренний!

1

Десятого марта 1918 года, в темный весенний день, Бунин записал в дневник слова, которые следует запомнить: «Люди спасаются только слабостью своих способностей, – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

– Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других...

Есть и у меня эта беда».

И если мы помянули Толстого, то невольно просятся на бумагу его мысли из «Воскресения»: «Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха выпускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что свяшенно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а свяшенно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Сбившиеся в кучку политики, назвавшие себя нелепыми словами «большевики», «меньшевики», «кадеты» и «эсеры», подвергаясь порой смертельной опасности, обрекаясь на тюрьмы и каторги, принося боль близким и дальним, внося в общество разлад и смуту, попирая законы божеские и человеческие, рвались к высшей, вполне царской власти.

И вот когда некоторые из них эту власть путем хитрости, вероломства и жестокости наконец получили, то использовали ее для того, чтобы мучить себя и с еще большей ожесточенностью – других.

* * *

С наступлением весенних дней Бунин все чаще стал выходить на улицу. Прежде богатый и вечно праздничный город, сиявший зеркальными вывесками, ломившимися от изобилия витринами и прилавками магазинов, веселый от легкого бега колясок или саней, теперь, после зимнего правления большевиков, стал похож на голодную и грязную нищенку.

До октября семнадцатого года Москва повсюду радовала глаз строительством новых зданий. Теперь жизнь здесь замерла. Леса и стены быстро разбирались населением на разные нужды. Уносили все, что можно было унести. Новостройки стояли жуткими и непривычными для глаз скелетами. Словно время обратилось вспять.

Все палисадники, изгороди и заборы тоже унесли на топливо. По этой причине обнажались чудные московские дворики и старинные особняки. Из них ушла прежняя роскошная жизнь. Они стояли обшарпанные, с выбитыми стеклами, засыпанные за зиму снегом. Сугробы снега навалились по дворам и по тротуарам, которые теперь никто не убирал.

Порой взгляд Бунина останавливался на крепких, поддерживавшихся в хорошем состоянии зданиях. И вот эти лучшие дома непременно занимались советскими учреждениями. Возле входных дверей были укреплены новодельные вывески с головоломными названиями: ВОНХ, НКСО, НКПС, РКРКК, МОСНКП...

Приходила толпа оборванных совслужащих одного из этих ребусов, обдирали штоф со стен и кресел, сжигала в печах антикварную мебель, картины, бумаги, загаживала грязью паркетные полы и, приведя здание в полную негодность, бросала его и переходила в другое. Только полоскались по ветру выцветшие тряпки знамен и лозунгов.

* * *

Жители были вполне достойны своего города: изможденные, угрюмые, голодные и несчастные, подавленные нуждой и страхом; мужчины порой в дамских шубах, подвязанных веревками, в рваных ботинках, ботах с чужой ноги, в неуклюжих валенках и самодельных варежках, с ранцами, с мешками за спиной. Трамваи с висящими на подножках людскими гроздьями подходили к остановкам, где толпились, ругались, толкались часами ожидающие своей очереди пассажиры. Длинные темные фигуры закутанных во что попало женщин мерзли в хвостах у продовольственных магазинов за скудной подачкой очередного пайка.

И все недоумевали: как и по какой причине произошло такое страшное превращение? Винили царя, евреев, Государственную думу, смутьянов-революционеров, но никто не желал спросить: почему более чем стоимиллионный народ кучка аферистов сумела с такой легкостью превратить в запуганных рабов?

Москва была в первой стадии «интернационала» – старый мир рухнул до основания. «Новый» еще не начинался. Выполнялась основная часть программы – люди воспитывались голодом и холодом, нивелировались во всеобщее братство нищих и покорных граждан будущего социалистического государства.

2

Академик Бунин не был исключением из числа «нивелируемых». Он испытывался холодом и голодом. Твердо решив перебраться в Одессу, он записал в дневнике: «Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни – физически».

В доме у Бунина еще зимой перестало работать центральное отопление. Он ложился спать в промозглую постель, не снимая с себя халата, надев теплые шерстяные носки, натянув на голову меховую шапку.

Приятель кухарки притащил новоизобретенный аппарат – «буржуйку». Это была маленькая квадратная печурка, сделанная из толстого листового железа, с длинной трубой коленом, которую выпустили в форточку. Под печурку положили лист кровельного железа – чтоб не загорелся паркет.

Бунин с интересом и надеждой взглянул на «буржуйку»:

– Почему такое название? Это нарочно для бывших буржуев? Ну что ж, попробуем...

Он собрал листы использованных рукописей, набил ими печку, сверху положил ножки от разбитой табуретки, полил слегка керосином... и чиркнул спичкой.

Все это он поджег.

Вспыхнул огонь, повалил густой едкий дым – в комнату.

Бунин кашлял, махал руками, выскочил в коридор. На помощь пришла опытная кухарка.

– Барин, это не книжки сочинять, тут головой надо думать. Ветер дым в трубу гонит. Надо топить умеючи!

И действительно, у кухарки дым пошел куда надо, печка скоро накалилась. Бунин неловко дотронулся до нее и сильно обжег руку. Он ругал печку, большевиков, революцию и даже их императорское величество Николая Александровича, который допустил и революцию, и большевиков.

Но помещение нагрелось. Бунин снял пальто, сразу повеселел и с удовольствием произнес:

– Час в добре пробудешь – все горе забудешь!

Но «буржуйка» оказалась удивительно прожорливым чудовищем. Ее ненасытное чрево моментально поглощало бумаги, стулья, платяные шкафы, доски от изгородей.

Вера выходила на улицу с саночками, пытаясь найти и привезти что-нибудь сгораемое. Но такими охотниками Москва полнилась. И все же однажды сказочно повезло. Против андреевского памятника – косо взирающего Гоголя она увидела почти целый телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами. Найди мешок с деньгами, Вера обрадовалась бы не больше. Вся взмокнув, извозив пальто, она все же приволокла бывшую телеграфную принадлежность на Поварскую.

Бунин так и ахнул, расцеловал жену. Два дня «буржуйка» весело трещала, накалялась, распространяя вокруг себя тепло, дым и надежды.

* * *

Оставалась другая проблема – голод. Праздник у Станиславского вспоминался как сладостный сон. К весне в городе почти нечего стало есть. Москва мерзла, голодала, тощала, болела, вымирала. На улице то и дело попадались дроги с бедным гробом, за которым печально брели близкие покойнику люди.

Однажды Бунин вместе с женою припозднился у Юлия. Возвращались по освещенным призрачным лунным светом улицам. Бандитов развелось больше, чем на постоялом дворе тараканов. За любым углом могла поджидать неприятная встреча. Бунин на всякий случай носил с некоторых пор в кармане револьвер. Это его успокаивало, хотя чувство страха ему не было свойственно. В трудные минуты он все чаще испытывал браваду, передавшуюся ему, видать, от отца, воевавшего на Севастопольских редутах. Это чувство горячности и веселого азарта вообще было свойственно старому русскому офицерству.

Вдруг послышался скрип полозьев. Навстречу Буниным тяжело двигались влекомые битюгами розвальни. На них было что-то навалено горой.

Когда розвальни приблизились, Бунин испытал ужас: из-под накинутаго на кладь рваного брезента торчали голые ноги. Кто были эти несчастные?

Люди умирали тысячами от тифа и голода. Очереди на гробы были так же длинны, как за хлебом. Только одного было вдоволь – трупов в анатомическом театре.

(Автора эта трагедия коснулась лично: в восемнадцатом году от «испанки» скончалась моя бабушка Ираида Ивановна Михайлова, оставив, по сути дела, сиротами пятерых малышей, среди них трехлетнюю Сашу, мою будущую мать.)

Исчезли папиросы. Бунин покупал табак, закручивал его в газетную трубочку и вставлял в желтый мундштук из слоновой кости. Покуривая, он говорил жене:

– Самое страшное, что все мы постепенно перестаем ужасаться творящемуся в мире безумию.

– И слава богу, иначе с ума спянуть можно! – мудро замечала Вера.

Вода в водопроводном кране все чаще стала замерзать. В лучшем случае она сочилась по капельке. Чтобы вымыться в ванной, надо было натаскать из уличной колонки воду, подогреть ее на твердо вошедшей в новый быт «буржуйке» и мыться над тазиком.

Бунин чертыхался:

– Чтоб революционерам самим всю жизнь так полоскаться!

Революционерам в конце концов пришлось еще хуже – спасибо Сталину. «Кто посеет ветер, тот пожнет и бурю».

3

Впервые за зиму академик и будущий нобелевский лауреат Бунин отправился на рынок – Смоленский. Своими глазами он увидал, что это такое – советский рынок. В нем, как в зеркале, отразились все те перемены, которые произошли в жизни.

Прежде рынок, заваленный продовольствием и прочим изобилием, был царством крестьян, лавочников и кухарок. Теперь Бунин увидал новый социальный элемент – бывших помещиков, богачей, крупных чиновников. «Недорезанных буржуев» большевики обрекли на голодную смерть – им отказали в снабжении, продовольственные карточки им не полагались. Единственная надежда – продажа вещей, которые еще у них не успели отнять.

* * *

Бывшие статские и тайные советники, герои Шипки и Цусимы, директора и чиновники различных департаментов, управляющие и финансисты, гофмейстеры и музыканты – все, кому повезло пока уцелеть от расправы, – длинными рядами, плечом к плечу, стояли или сидели на чем бог послал и держали перед собой самые различные предметы. Это были картины, книги, часы, носильные вещи, посуда, каминные решетки, гардины, фраки, парадные штиблеты, сюртуки, панталоны, скрипки...

Вдоль рядов, лениво оглядывая товар и продавцов, прохаживались с лоснящимися мордами спекулянты и посредники. Порой они останавливались, брали в руки фрачную пару или старинную, хорошего письма картину, сквозь зубы презрительно торговались, давали десятую часть цены и вальяжной походкой шли дальше.

Бунин живо представил себе этих униженных продавцов такими, какими некоторые из них были до октября семнадцатого года: важными, сановными, везде принимаемыми с почестями и улыбками. Делали они карьеру по разным министерствам и департаментам, исполняли предписания с самого верха, от государя получали ордена, выслугу лет и высокое жалованье. Дома их были богаты и просторны, слуги вышколены и чисто одеты, лошади и коляски изящны и дороги, семьи ездили отдыхать в Ниццу и Карлсбад.

Казалось, ничто и никто не может изменить налаженный веками образ жизни: впереди их ждали награды, новые повышения и чины, а затем большой и заслуженный пенсион. Они честно служили процветанию России, и все эти блага были ими заработаны.

И вот все в одночасье изменилось. Теперь вместо почестей – унижение, вместо богатства – голодное существование. И в любой день, в любой час могут явиться в ту конуру, куда их загнали, люди в кожаных тужурках и с жестким выражением на лицах. Они оторвут их от плачущих жен, детей, внуков и уведут... Навсегда!

Впрочем, вон того сгорбленного старика в дорогой, тонкого сукна военной шинели могут приговорить и к «мягкой» форме наказания – к «условному расстрелу».

Старик, высокий, весь источенный легочной болезнью, с нездоровым румянцем на щеках, постоянно кашляет и сплевывает в платок кровавые сгустки. Зачем тратить революционную пулю, когда царский сатрап и так в тюремной камере быстро загнется?

Ах да, «условный расстрел»! Это интересное большевистское новшество, вполне неслыханное. Царские министры для смягчения карательной системы придумали институт условного осуждения. Зато большевики сообщили, что недавно в городе Жиздра разоблачена «банда контрреволюционеров». Главарь расстрелян, двадцать семь человек «условно приговорены к расстрелу».

Бунин обвел взглядом людей, его окружавших, и невольно подумал: «Господи, да ведь мы все под „условным расстрелом“ ходим. Пребываем в сумеречном состоянии между жиз-

нюю и смертью. Чтобы пролетарская пуля продырявила затылок, не надо быть активным борцом против большевиков, достаточно быть просто интеллигентом. Смерть вошла в домашний обиход, стала неотъемлемой частью существования. Ничто не идет в сравнение с нынешними зверствами!»

* * *

Кто-то тронул за плечо Бунина. Перед ним стоял сухонький, чистенький старичок академического вида лет шестидесяти, с седыми усами и традиционной для русской профессуры бородкой клинышком. Это был Алексей Евгеньевич Грузинский, научный сотрудник Румянцевского музея, крупный знаток народного творчества во всех его видах, исследователь жизни великих людей, переводчик, критик и прочая, прочая.

Бунин восхищался его преданностью науке и радовался его дружбе с братом Юлием. Оба они отличались чувством общественного долга, который будет изрядно забыт в последующие десятилетия. Грузинский, как и Юлий, входил в правления всех, кажется, существовавших организаций – «Книгоиздательства писателей», кассы взаимопомощи литераторов и ученых, Общества деятелей периодической печати и литературы, Литературно-художественного кружка, Чеховского общества и... Нет, не перечислить все организации, в каких Грузинский энергично и бескорыстно работал.

– Я сплю по четыре часа в сутки, – с милой улыбкой признался он однажды Бунину. – Даже если бы жизнь продолжалась, скажем, лет пятьсот, и то всех дел не переделать. А тут каких-то семьдесят. Нет, спать долго нельзя. Надо бодрствовать, чтобы работать...

* * *

Грузинский был явно смущен, что его встретили в столь неизящном месте, что брюки забрызганы грязью, что за хилыми академическими плечами грязный мешок с картошкой.

– За картошечку отдал лакированные штиблеты! – извиняющимся тоном пояснил Грузинский. – Жена уже с голоду пухнет.

– Но ведь говорили, что Луначарский и Горький организовали помощь ученым?

– Нет, я к господам большевикам за помощью не пойду, – беззлобно сказал Грузинский. – Скоро весна настанет, буду на питание менять зимние вещи. Если, конечно, прежде большевиков не прогонят.

Помолчали.

– А вы, Иван Алексеевич, обращались за помощью? Вы – академик, близкий человек Горькому. Были близким... – поспешно поправился Грузинский.

Бунин усмехнулся:

– Нет, я русский дворянин и к большевикам с протянутой рукой не пойду. Кстати, только теперь по-настоящему уяснил себе Божью молитву: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Без связи с предыдущим разговором Грузинский сказал:

– Вообще-то я всеми силами избегаю бывать в людных местах. Нет, не потому, что за жизнь боюсь. Я проживу не менее семидесяти лет. Десять лет мне еще надо, чтобы провести текстологическую обработку рукописей Толстого – художественные произведения, дневники, некоторые письма. На людях я стараюсь бывать реже по той причине, что меня пугает изменившееся выражение лиц.

– Я понимаю вас, – искренне сказал Бунин. – Я испытываю то же самое.

Коллеги галантно раскланялись.

– Будем рады видеть вас у себя, – душевно произнес Бунин на прощание.

Сам он уносил с рынка большую селедку – для себя и маленький граненый стаканчик с медом – для жены. Селедка оказалась жирной, нежной и вкусной. Медом же стаканчик был лишь помазан по стенкам, а внутри находился жженный сахар.

– Страшна ты, жизнь! – вздохнул Бунин.

Эту фразу ему теперь предстояло повторять долго – до самого своего конца.

4

Третьего марта 1918 года большевики подписали мир с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. В стране разгоралась Гражданская война. И чтобы не воевать на два фронта, большевистская верхушка предпочла капитуляцию (именно таким было «соглашение») перед Германией и ее союзниками. Вожди большевизма сознательно шли на развязывание самой страшной из войн – гражданской. Ибо только победа в ней обеспечивала Ленину и Троцкому власть в России.

Еще 10 февраля 1918 года красный маршал Троцкий, дорвавшийся до небывалой возможности распоряжаться судьбой России и ее народов, заявил на заседании Политической комиссии:

– Мы выходим из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий, противостоящих войскам Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Мы ждем и твердо верим, что другие народы скоро последуют нашему примеру.

Большевики перед лицом измотанного, стоявшего на краю краха неприятеля провели прием, небывалый в истории. Они демобилизовали русскую армию и «вручили русский фронт покровительству германских рабочих». Ленин отдал под власть немцев 55 миллионов людей, тридцать процентов пахотной земли, треть железных дорог. Черчилль сказал: «Ленин лезет на вершину власти по человеческим черепам».

Такая «дипломатия» во все времена называлась изменой родине, за нее ставили к стенке. Но у большевиков она вызывала восторг. Петроградский диктатор Зиновьев воскликнул: «Нашей новой формулой („ни мир, ни война“) мы наносим этому империализму страшный удар».

Когда Ленина спрашивали: «Что же дальше?» – он невозмутимо отвечал:

– Дальше революция в Германии! И мировой пожар...

«Мировой пожар» раздуть, к счастью, не довелось. И в Германии революция тогда произойти не могла. Ленин, дальновидный политический стратег, этого не мог не понимать. Зачем же он капитулировал перед Германией?

В 1927 году в Париже выйдет книга П. Н. Милюкова «Россия на переломе». Говоря о политике большевиков в Бресте, он с горечью писал: «Хочется сказать: мы имеем дело с сумасшедшими. Но не следует спешить с этим суждением. В этом сумасшествии есть метод».

И все же большевики добились одного – привели немцев в изумление. Но, справившись с оным, те без всяких помех стали занимать российские пространства. Более того, в обессиленную Германию пошли эшелоны с русским золотом – шесть миллиардов (!) марок. Ленин расплачивался с долгами.

Что русские люди чувствовали, узнавая такие новости? Вот выдержки из дневника Бунина:

«Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоеывая, а „просто едут по железной дороге“ – занимать Петербург...»

«В „Известиях“ статья, где „Советы“ сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал».

«В трамвае ад, тучи солдат с мешками – бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: „Ну, вот немец придет, наведет порядок“».

«Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов...»

«Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

– Не представляю себе, – говорил А. А. Яблонский, – не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна».

«На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

– Ну а сколько же именно эти мерзавцы получили?

– Не беспокойтесь, – ответил он с мутной усмешкой, – порядочно...»

Николай Семенович Ангарский-Клестов – старый большевик, член парижской группы «Искра» с 1902 года, выпускал книги Ленина. Погибнет как «враг народа» от рук сотоварищей по большевистской партии в 1943 году.

«Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

– Вставай, подымайся, рабочий народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: Cave furem. На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого клейма все видно».

«Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая – то интернационал, то „русский национальный подъем“».

Тут мой герой не прав: Ильич всегда искренне не любил русский народ и российский патриотизм. Открыв границу немцам, он мстил (неизвестно, за что?) этому народу и отрабатывал миллионы, которые его привели к власти.

5

К Бунину заглянул на огонек Грузинский.

Тихий, спокойный, словно струящий из себя внутренний свет, он застенчиво улыбнулся:

– Я хочу сделать сегодня маленький литературный вечер.

Он не спеша полез в свой черной кожи портфель с монограммой («Наверно, к юбилею получил!» – решил Бунин). Оттуда достал папку, развязал ее и с непринужденной грацией извлек рукопись самого...

Бунин готов был протереть глаза.

– Нет, не может быть! – проговорил он, приближая глаза к рукописи и с радостью узнавая почерк столь дорогого для него человека. – Ведь это рука Льва Николаевича!

– Да, это неопубликованные фрагменты «Войны и мира». Я, как вы знаете, работаю с архивом Льва Николаевича, разбираю его. Сейчас исследую тексты романа, устанавливаю постепенность его редакций...

Бунин крикнул:

– Вера, иди сюда! Смотри, какое чудо...

Сам он любовно и самозабвенно глядел на большие листы бумаги, исписанные размашистым, округлым, неудобочитаемым почерком своего кумира.

Накормив ужином Грузинского, они уселись за столом. Алексей Евгеньевич ровным голосом читал неизвестного Толстого.

Бунин зачарованно слушал, сладостно внимал каждому слову. И как всегда после чтения толстовских произведений, он испытывал душевное просветление, умиротворение духа.

* * *

Потом они пили чай, быстро вскипевший на раскаленной «буржуйке».

Грузинский все тем же ровным, тихим голосом, каким читал рукописи «Войны и мира», рассказывал:

– Сейчас в трамвае еду, с солдатом разговорился. В ногу тот ранен, в колене не сгибается. Жалко мне его, сердечного. Была у меня луковица, отдал ему. «Эх, – говорит, – барин, насиделся я без дела, прожился весь. В деревне – кому такой нужен, клосный! Пошел в Совет депутатов. Говорю: как я есть защитник отечества и тяжело раненый, дайте мне какое-никакое место. Для пропитания. Отвечают: места нету! А для пропитания и обмундирования вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично пожить. Я их послал куда подале, я честный человек».

– К сожалению, такими честными оказались далеко не все, – печально протянул Бунин. – Особенно изолгалась интеллигенция.

Грузинский согласно закивал:

– А что еще им остается, этим «прогрессивным деятелям» – Луначарскому, Клестову, Гржебину? Ведь они – большевики, всегда были за революцию, готовили ее. Сказали А, говорят Б.

Бунин сжал кулаки, разволновался. Он поднялся, стал расхаживать по комнате. Повернулся к гостю:

– Да что там большевики! Сам беспартийный «серафический» поэт (так называл его Гумилев) Блок прозаически обосновал зверства большевиков и заодно мужицкую жестокость. Читали январский номер журнала «Наш путь»? – Бунин подошел к письменному столу, долго, с ожесточением рылся в ящиках и наконец извлек журнал. – Вот оно самое: «Почему дырявят древний собор? Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью».

Бунин швырнул журнальчик в «буржуйку». Тот моментально вспыхнул, превратился в пепел. Бунин продолжал:

– Неужели Блок ослеп? Неужели теперь он не покраснел за большевистский мир в Брест-Литовске? Неужто не видит, как «отцы революции», боровшиеся под знаменами «всеобщего равенства», ввергли народ в нищету, а сами заняли роскошные дворцы, катаются с любовницами на авто!

– Наверное, – согласно тряхнул головой Грузинский, – тот же Луначарский не «буржуйкой» отапливается.

– Рыба тухнет с головы!

– Иван Алексеевич, а вы слышали, что Ленин и его правительство собираются переезжать из Питера в Москву?

– Слух упорно ходит. Что ж, то разрушали из пушек древний Кремль, а теперь будут царские палаты занимать. Кто был ничем, тот стал уж всем!

...Это была их последняя встреча. Ровесник Юлия Бунина, Грузинский умрет в Москве через двенадцать лет, в январе тридцатого года. Ему будет семьдесят один год.

Бунин об этой смерти даже не узнает: слишком далеко друг от друга раскидает их жизнь.

Кремлевские коридоры

1

– Придет марток – не удержишь порток! – ворчал Бунин, собираясь выходить на улицу. Солнечные дни, стоявшие на минувшей неделе, сменились слякотью, грязью, сырым порывистым ветром.

– Калоши надень! – наставляла Вера.

– Если бы не к Ивану Фадееву идти, то и носа на двор не высунул.

Твердо решив покинуть Москву, Бунин продолжал распродавать свою большую библиотеку.

– Пусть достанется книжникам! А то ведь «революционный пролетариат» костер сложит! – рассуждал Бунин. И он отправился к полюбившемуся ему молодому, ширококостному и длиннорукому букинисту Фадееву, державшему свою лавочку на Лубянке. – Пусть все вывозит!

Где-то в полдень Бунин миновал университет на Моховой и приближался к Тверской. Вдруг, шагах в полусотне впереди, непрерывно нажимая на клаксоны, от гостиницы «Национальной» отъехало несколько автомобилей. Грозно оцетинясь штыками, на подножках стояли красногвардейцы.

Автомобили, набирая скорость, рванули к Троицким воротам Кремля.

– Правители поехали! – с восхищением произнес прыщавый парень в длиннополом черном пальто и с рваным портфелем под мышкой. – Сам Ленин, говорят, у нас в Москве теперь жить будет. Кр-расота!

* * *

«Жены всех этих с<укиных> с<ынов>, засевающих в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по домашним телефонам». Ив. Бунин. «Окаянные дни».

* * *

Новые насельники Кремля, оказавшись за кружевом древних стен, сразу же почувствовали себя непринужденно, словно родились не в разных местечковых поселениях, а великими князьями.

Впрочем, обратим взор к любопытным событиям, разыгравшимся несколькими днями раньше в Петрограде.

2

Девятого марта 1918 года в Смольном стояла небывалая суматоха. Наружная охрана была значительно усилена. Вовнутрь никого, кроме правительственных чиновников, не допускали. Ходоки, просители, жалобщики, прибывшие с разных концов России, бесплодно пытались добиться начальства.

А начальству было не до пустяков. В громадные ящики упаковывались бумаги, секретные документы, пишущие машинки, бутылки с чернилами и коробки с перьями.

Сотрудницы и сотрудники сбились с ног. В кабинете под номером 75, где размещался Бонч-Бруевич, было шумно, многолюдно, накурено и надыхано. Управделами, вытирая пот с сального небритого лица, охрипшим голосом отвечал на вопросы сотрудников, кричал приказы в телефонную трубку, то и дело убегал по вызову Ленина. Суматоха была такой, будто враг подходит к городу.

В кабинет медленно вполз грузный, вечно потевший и неприятно пахнувший нарком юстиции Штернберг. Возмущенным голосом начал кричать:

– Что за бардак! Ящиков для бумаг дали всего сорок штук, половина из них разваливается...

– Претензии по поводу ящиков не ко мне, к Дзержинскому, – нервно дернул головой Бонч-Бруевич. – А вот он и сам.

– Феликс Эдмундович, ваши заключенные плохо ящики сколачивают, разваливаются! – визжит Штернберг.

Дзержинский, сухощавый, подтянутый, с усмешкой роняет:

– Конечно, если обдирать стены и набивать ящики бронзовыми канделябрами, то они эти пуды не выдержат.

– Вы лучше расстреляйте с десяток саботажников, тогда остальные работать будут лучше! – брызжет слюной Штернберг. – Безобразие.

Дзержинский с ненавистью смотрит на обрюзгшее лицо наркомюста и сквозь зубы цедит:

– Замолчите! И все казенное имущество верните. Мои люди проверят, что вы тащите из Смольного.

Бонч-Бруевич, как опытный рефери в жарком боксерском поединке, бросается между соперниками:

– Тихо, тихо, товарищи! Нас ведь слышат... Я сейчас пришлю двух плотников, они ящики сколотят.

Обратился к Дзержинскому:

– Вы за грузовиком? Я уже распорядился. Будет с минуты на минуту.

Обменявшись взглядами, полными ненависти, наркомы покидают кабинет. Теперь влетает Михаил – брат Бонч-Бруевича.

– Вова, – кричит он с порога. – Выручай! У нас отбирают два купе.

– Ты кто? Военрук Высшего военсовета! Возьми солдат и отбей купе. Неужели учить надо?

Тот радостно хлопает себя по лбу и исчезает – воевать купе.

В кабинет неслышно входит Зиновьев. Он чувствует себя единственным хозяином Питера. Понаблюдав за суетой, дав «ценные» указания Бонч-Бруевичу, вытянувшемуся перед вождем, так же тихо покидает кабинет.

Зиновьев очень рад этой эвакуации. Он первым сказал Ильичу:

– Столицу оставлять в Питере небезопасно. С военной точки зрения. Немецкий флот может появиться в ближайших водах Балтийского моря. Да и заговорщиков много развелось здесь...

– Хотите от нас избавиться? – блеснул хитрым глазом Ильич. – Знаю вас! И потом, что скажут люди? Что большевистское правительство дезертирует из революционного Петрограда? Ведь Смольный стал синонимом советской власти.

Вскочив из-за стола, он в волнении забегал по кабинету. Он и сам вынашивал мысль о переезде, но, не приняв окончательного решения, мнение это высказывать остерегался.

– Пусть Троцкий зайдет ко мне, – распорядился Ленин.

Тот, словно нечистый, тут же вырос в проеме.

– Лев Давидович, как вы относитесь к мысли, чтобы мы, правительство, переехали в Москву?

Троцкий начал лихорадочно щипать бородку:

– Сложный вопрос! Поймут ли нас рабочие массы, а?

– Вот и я говорю! – согласился Ленин. – Не поймут.

Он опять нервно заходил по кабинету. Вдруг остановился возле Троцкого, начал крутить пуговицу на его френче:

– А если немцы одним скачком возьмут Питер? Более того, останься мы в Петрограде, мы увеличиваем военную опасность для него, как бы провоцируя немцев захватить Петроград? А?

Ленин с интересом вперился взглядом в Троцкого.

– Надо не бегать, – твердо сказал тот, – надо защищать Питер. Ведь колыбель революции – Смольный.

– Какая, к чертовой матери, колыбель! – вдруг вспыхнул Ленин. – Привыкли блядословить. «Колыбель, колыбель...» Что вы калякаете о символическом значении Смольного? Смольный потому Смольный, что мы в нем. Переберемся в Кремль, и вся ваша бутафорская символика перейдет к нему. Так говорю? – Он повернулся к Зиновьеву.

– Вы, Владимир Ильич, как всегда, правы.

– То-то! – торжествующе произнес Ильич. Он почувствовал облегчение оттого, что наконец принял решение.

Вызвав Михаила Бонч-Бруевича, Ленин распорядился:

– Напишите рапорт о ваших соображениях по поводу переноса столицы в Москву. С военной точки зрения.

– Слушаю-с, Владимир Ильич.

Позже братья Бруевичи приписали себе инициативу переезда в Москву.

* * *

Всю организацию этого сложного дела Ленин возложил на Владимира Бонч-Бруевича. Тот, по его собственному хвастливому уверению, «целой системой мер совершенно парализовал террористические замыслы эсеров». У страха глаза велики!

Одна из мер – он отправил в двух царских поездах членов ВЦИКа. Сделано это было с намеренной шумихой. Во всех вагонах разместили эсеров – «своих взрывать не будут!». В. Бонч-Бруевич вспоминал:

«Поездам была придана военная охрана, а в самую последнюю минуту мы подкатили на автомобиле Председателя ВЦИКа, Я. М. Свердлова, вошли с ним в первый поезд, прошли по всему поезду, как бы знакомясь с расположением в нем всех депутатов. Вся публика, толпившаяся на вокзале, хорошо видела Свердлова, а когда дошли до последнего вагона, нарочито не освещенного, я предложил ему слезть в обратную сторону и заранее намеченным путем перевел его, на всякий случай, во второй поезд, так что все были уверены, что он уехал в первом. Я следил за проходом этих поездов с членами ВЦИКа по телеграфу, получая донесения с каждой узловой станции.

Самое главное дело приближалось, и мне надо было совершенно сбить с толку тех, кто мог бы любопытствовать об отъезде правительства.

Девятого марта я отдал распоряжение приготовить два экстренных пассажирских поезда на Николаевском вокзале с тем, чтобы они были совершенно готовы к отбытию 10 марта. В этих поездах я хотел отправить работников комиссариатов, все имущество управления делами Совнаркома, всех служащих управления и все то необходимое, что нужно было в первые дни жизни правительства в Москве.

Эти поезда я решил грузить открыто, не обращая ни на что внимания. Я ясно сознавал, что шила в мешке не утаишь и что такую громаду, как управление делами Совнаркома и комиссариаты, тайно не перевезешь, мне лишь надо было отвлечь внимание от „Цветочной

площадки“. По городу, да и в Смольном, стали говорить, что правительство уезжает с Николаевского вокзала. В Смольный, в комнаты управления делами, я совершенно закрыл доступ, и там шла лихорадочная упаковка всего нашего имущества. На Николаевском вокзале шла погрузка двух поездов из некоторых комиссариатов, а для управления делами были оставлены вагоны».

3

Никогда никакой российский самодержец не принимал при своих переездах столь исключительных мер безопасности. Вот парадокс: власть, которая называла себя «народной», всего больше боялась самого народа, всячески от него оберегалась сама и оберегала в тайне свою жизнь. И на это были веские причины.

Партийные верхи, воспевая равенство и братство, обещая народу «светлое будущее», которое, как горизонт, по мере приближения к нему все отодвигается, сами уже купались во всевозможной роскоши. В их распоряжении были великолепные дачи и квартиры, автомобили и секретарши, лучшие товары по льготным ценам. И все эти блага доставались не самым талантливым и необходимым для государства людям, а самым бесполезным и даже вредным для его существования.

Вступление в партию означало приобщение к кругу избранных. Вчерашний изгой как бы становился патрицием. Не зря же партийные собрания были «закрытыми» – тайны только для своих!

Как легенды, ходят рассказы, что в наиболее трудных случаях комиссары (парторги) кричали:

– Большевики, за мной!

И большевики «грудью поднимались на врага»!

Если так и было, то как им не подниматься, когда именно они являлись новыми хозяевами, они шли защищать свое кровное, личное.

Но забывают при этом, что рядовые беспартийные – и на фронте, и в тылу – куда чаще клали голову за родину. И Россию любили несколько не меньше, хотя не имели никаких надежд в силу своей беспартийности достичь сколько-нибудь высоких ступеней на социальной лестнице.

4

Итак, в половине десятого вечера 10 марта, попив на дорогу чайку с бутербродами и эклерами, подкрепившись шартрезом, Ленин со своей свитой покидал Смольный институт.

Ильич окинул прощальным взглядом резиденцию. С ней было связано немало приятных воспоминаний. Почесав задумчиво подбородок, он произнес, обращаясь к стоявшему рядом Троцкому:

– Да-с, петроградский период закончен. Что-то скажет нам московский?

Троцкий почтительно изогнулся:

– С вами, Владимир Ильич, революция победит везде...

Дзержинский не удержался, фыркнул:

– Лесть грубая, но приятная!

Ленин и Крупская расхохотались.

Ильич пожал на прощание влажную ладонь Троцкого. Тот на некоторое время оставался в Питере в качестве председателя городского военно-революционного комитета.

В авто, кроме Ильича, забрались Крупская, сестра вождя Мария Ильинична, Бонч-Бруевич и его жена Вера Михайловна. На подножки слева и справа вспрыгнули вооруженные охран-

ники. Еще один автомобиль, набитый вооруженными людьми в черных кожанках, следовал сзади.

Освещая редких, шарахавшихся в стороны прохожих и военные патрули, расставленные по всему маршруту следования, авто быстро подкатили к Московским воротам. Проехали еще квартал и, свернув на Заставскую улицу, вскоре влетели на платформу Цветочная площадка.

Затормозили у последнего вагона железнодорожного поезда. Охрана ловко на ходу соскочила с автомобилей, оцепив проход к правительственному поезду.

Специальная команда освещала карманными фонариками дорогу, Бонч-Бруевич бережно поддерживал Ленина под локоть. Тот, не привыкший к быстрой ходьбе, тяжело дышал, постоянно спотыкался. Он то и дело нервно сдергивал с головы черную каракулевую шапку и вытирал лысину.

– Владимир Ильич, – забеспокоилась Крупская, – не снимай шапку! Простудишься. В два счета!

Ленин ответом не удостоивал. У Крупской были выпуклые глаза и прозвище Минога.

Наконец забравшись в салон-вагон, Бонч-Бруевич приказал начальнику станции:

– Поезд немедленно отправлять!

Затемненные вагоны, лязгнув буферами, тихо покатили.

Усиленная охрана разместилась по всему поезду. Специальный комиссар с бойцами сели в тамбуре паровоза – для контроля за машинистом.

– Что же, мы так и будем находиться в этой крошечной тьме? – заволновался Ленин, с детства боявшийся неосвещенных помещений.

– Как только окажемся на главных путях, Владимир Ильич, свет тут же зажжем! – успокоил Бонч-Бруевич. – Немножечко потерпите. А пока позвольте свечечку поставить...

Усиливая ход, поезд пошел на Любань. И вот ярко вспыхнуло электричество, осветив зеркала, хрустальные люстры, мягкие кожаные диваны, ковры на полу, буфет с закусками и бутылками. Окна были плотно зашторены.

Лакеи устали столы холодными закусками. Начался ужин. Ленин, расставшийся со страхом, шутил, смеялся, то и дело подливал вино Дзержинскому и Крупской:

– Коллекционное, из подвалов Абрау-Дюрсо!

Дзержинский вежливо отказывался, Крупская пила и приговаривала:

– Пьем да посуду бьем, а кому не мило, того в рыло!

Бонч-Бруевич хохотал. С каменным лицом молча жевал Сталин. Дзержинский с трудом удерживал презрительную улыбку. Двое последних терпеть не могли жену вождя.

Ленин, закончив ужин, сел играть с Каменевым в шахматы.

– Лев Борисович, ты ловко разыграл отказанный ферзевый гамбит! – с досадой поморщился Ильич.

– Капабланка в твоей позиции, Ильич, сдается! – нахально улыбнулся Каменев.

Ленин задумчиво, по привычке ковыряя пальцем лысину, слушал бахвальство старого партийного друга и напряженно считал варианты.

Дзержинский углубился в какую-то старинную книгу в полукожаном переплете.

– Что читаете, Феликс Эдмундович? – заинтересовалась Крупская.

– Выписал из библиотеки «Путеводитель по Москве и ее окрестностям». Вышел в 1872 году.

– Какая полувековая древность! Что там может быть полезного?

– Интересные очерки об истории города, о традициях и обычаях.

– Эту «большую деревню» следует разрушить и возвести город новый, большевистский, – решительно произнесла Крупская. – Нам это в два счета!

5

К судьбе Дзержинского более всего подходила русская поговорка: «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Сын мелкого шляхтича, он еще в самом нежном возрасте почувствовал не по-детски страстное влечение к Богу, желание служить Ему. Монастырская келья не привлекала воображение ребенка. Нескромные мысли порой приходили в голову, и маленький Феликс не отгонял – лелеял их. Он хотел стать неким мессией, который сумеет объяснить людям, что жить следует по справедливости, никого не обижать, кормить голодных, согревать душевным теплом убогих и несчастных. То-то бы наступило на земле Царство Небесное, и прославилось имя его, гимназиста из Вильны! Он очень хотел стать знаменитым, и некий тайный голос убеждал его, что славы он достигнет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.